This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,351,987

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

Цѣна 1 руб.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1907.

78
90

ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Г-во СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.

Предисловіе.

«Критическая литература о произведеніяхъ гр. А. Толстого» собрана мною для тѣхъ же цѣлей, которыя я преслѣдовалъ, давая сводку статей о Щедринѣ и Островскомъ.

Отсутствіе въ нашей библіографической литературѣ полныхъ, достаточно исчерпывающихъ критическій матеріалъ сборниковъ побуждаетъ меня къ выпуску третьей моей работы, на этотъ разъ посвященной выдающемуся русскому поэту. Изъ немногочисленной литературы объ А. Толстомъ я выбралъ все, что заслуживаетъ вниманія современнаго читателя и представляетъ литературную цѣнность съ объективной точки зрѣнія.

Къ критическому матеріалу я прибавилъ біографическій очеркъ, между прочимъ потому, что до сихъ поръ русская литература не удосужилась дать болѣе или менѣе сносную біографію писателя, по праву занявшаго видную страницу въ исторіи нашей художественной литературы.

Н. Денисюкъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго выпуска.

Стр.

А. К. Толстой (*біографическій очеркъ*). **Н. Денисюкъ** . . . . . 1—48

А. К. Толстой. Характеристика произведеній. Изъ *„Исторіи новѣйшей литературы“*. **А. М. Скабичевскаго** . . . . . 49—53

„Драма въ Европѣ и у насъ“. **А. М. Скабичевскій.** (*„Отечественныя Записки“, 1873 г., № 5*) . . . . . 54—61

Гр. А. К. Толстой какъ лирическій поэтъ. **Орестъ Миллеръ** . . . . 62—78

„Грѣшница“, поэма А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . . 79—90

„Садко“, былина А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . . 91—103

„Василій Шибановъ“, баллада А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . 104—107

„Іоаннъ Дамаскинъ“, поэма А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . . 108—116

„Донъ-Жуанъ“, драмат. поэма А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . 117—123

Міросозерцаніе А. Толстого. **Н. М. Соколовъ** . . . . . 124—128

Гр. А. Толстой какъ сатирикъ. **Н. Котляревскій** (*„Вѣстникъ Европы“, 1906 г., № 7.*) . . . . . 129—175

ОГЛАВЛЕНІЕ

перваго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

„Донъ-Жуанъ“. Статьи: Стр.

А. Скабичевскаго 53

Н. Соколова 117

„Смерть Іоанна Грознаго“. Статьи:

А. Скабичевскаго 54

„Слѣпой“. Статьи:

О. Миллера 65

„Драконъ“. Статьи:

О. Миллера 66

„Грѣшница“. Статьи:

О. Миллера 99

Н. Соколова 16

Стр.

„Іоаннъ Дамаскинъ“. Статьи:
О. Миллера 67
Н. Соколова 108
„Садко“. Статьи:
Н. Соколова 91
„Василій Шибановъ“. Статьи:
Н. Соколова 104
„Порой веселой мая“. Статьи:
Н. Котляревскаго 139
„Потокъ-богатырь“. Статьи:
Н. Котляревскаго 139
„Противъ теченія“. Статьи:
Н. Котляревскаго 140
„Сонъ Попова“. Статьи:
Н. Котляревскаго 146
„Русская исторія отъ Гостомысла“. Статьи:
Н. Котляревскаго 148
„Деларю“. Статьи:
Н. Котляревскаго 149
„Бунтъ въ Ватиканѣ“. Статьи:
Н. Котляревскаго 152
„Кузьма Прутковъ“. Статьи:
Н. Котляревскаго 153

Графъ А. К. Толстой.

Гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой.

(1817—1875 гг.)

ВВЕДЕНІЕ.

Въ нашу добрую старую Русь, управляемую православными набожными царями, въ Русь съ ея важною торжественною внѣшностью, съ ея сознаніемъ, глубоко проникнутымъ патріархальнымъ, полу-религіознымъ характеромъ, врывается человѣкъ совершенно другого закала и, по выраженію Мекензи Уоллеса, подобно быку въ фарфоровой лавкѣ, безъ жалости разбиваетъ всѣ идолы московской благопристойности, приличія и общественности. Для того чтобы окончательно удалить пыль отъ разбитыхъ куколъ, затхлый воздухъ лавки и впустить въ нее свѣтъ, онъ прорубаетъ окно съ западной стороны... Онъ уже не проводитъ всѣ дни за нескончаемыми церковными службами и на совѣтахъ со своими боярами; вмѣсто посѣщенія монастырей и пилигримства къ святымъ мощамъ, онъ ѣдетъ въ Голландію; вмѣсто назидательныхъ бесѣдъ съ патріархами и уважаемыми подвижниками, онъ учится строить корабли и организуетъ армію; вмѣсто житія святыхъ, онъ вводитъ свѣтскую литературу и свѣтское знаніе. Съ рвеніемъ христіанскаго монарха, жестокостью восточнаго деспота Петръ все передѣлываетъ, перестраиваетъ, перекрашиваетъ и разрушаетъ. Результатомъ этой работы гиганта-реформатора было то, что съ момента петровскихъ реформъ Россія стала составною частью европейской политической системы и связала себя навсегда интеллектуальными узами съ европейскою исторіей и просвѣщеніемъ. Правда, реформы Петра коснулись только высшаго дворянскаго класса, но, такъ или иначе, сѣмена были брошены, и, несмотря на то, что народъ упорно цѣплялся за старые обычаи и вѣрованія, дворяне стали смотрѣть на архаическіе пред-

меты народнаго благоговѣнія, какъ на остатокъ варварскаго прошлаго, котораго должна стыдиться цивилизованная нація.

Хотя Петръ былъ космополитомъ и бралъ то, что годилось для его реформаторскихъ плановъ, изъ рукъ тѣхъ народовъ, у которыхъ онъ находилъ свое добро, но близость Германіи, присоединеніе Балтійскихъ провинцій съ ихъ нѣмецкою культурой, а также семейные союзы нашей царской фамиліи съ нѣмецкими дворами—сдѣлали нѣмецкое вліяніе въ Россіи преобладающимъ.

При императрицѣ Аннѣ въ царствованіе Бирона это вліяніе еще болѣе усилилось: дворъ, весь офиціальный міръ, армія и школа были германизированы.

По выраженію А. Толстого, при Биронѣ мы сидѣли какъ въ ваннѣ и притомъ въ ваннѣ съ такой температурой, которую не назначитъ ни одинъ врачъ ни больному ни здоровому. Въ отвѣтъ на грубое, жестокое тираническое господство Бирона послѣдовалъ переворотъ, и на мѣсто Анны воцарилась Елизавета. Отъ нея ожидали, что она прекратитъ господство иностранцевъ, и дѣйствительно она сдѣлала въ этомъ смыслѣ кое-что, но, уменьшивъ гнетъ нѣмецкихъ чиновниковъ, она не могла разрушить вліянія и господства западной цивилизаціи. Русское образованное общество, проникшись ненавистью ко всему нѣмецкому, вытолкало за дверь все, что пахло нѣмецкимъ духомъ, и все, что шло съ маркой нѣмечины, но это еще не значитъ, что наше общество отъ этого стало умственно самостоятельнымъ и независимымъ. Разставшись съ господиномъ нѣмецкаго происхожденія, оно тотчасъ почувствовало необходимость посторонняго руководства. Какихъ же теперь призовутъ варяговъ? Изъ какого источника будутъ утолять жажду людей, у которыхъ стали уже расти потребности цивилизованнаго народа? Конечно, Франція имѣла всѣ шансы замѣнить нѣмецкихъ цивилизаторовъ. Дворъ французскихъ королей былъ самымъ блестящимъ. Парижъ и Версаль вмѣщали въ своихъ салонахъ столько людей тонкаго ума и вкуса, какъ нигдѣ въ цѣломъ мірѣ. Французское искусство и литература достигли бо́льшаго совершенства. Наконецъ сама Германія изо всѣхъ силъ старалась подражать Франціи. Не было ни одной владѣтельной особы въ Германіи, ни одного аристократа или придворнаго, который бы не дѣлалъ усилій усвоить до послѣднихъ мелочей французскія моды и французскій языкъ. Понятно,

[illegible]

[illegible] Вольтера, Руссо [illegible]

[illegible] французскихъ [illegible]

[illegible] русскіхъ Лафонтенъ [illegible]

[illegible] надѣть на себя [illegible]

[illegible] французскихъ [illegible]

[illegible] было бы [illegible]

[illegible] черты, національная характеръ [illegible]

[illegible] Фрейнинъ перестал[illegible]

[illegible] всѣхъ этихъ одѣждъ, всѣхъ [illegible]

[illegible] комедіяхъ, [illegible]

[illegible] гибкій умъ, а иногда и [illegible]

[illegible] и умѣнье владѣть литературнымъ языкомъ, но все это [illegible] литература, а искусное подражаніе [illegible]

[illegible] писатели псевдо-классической школы [illegible] Гомера, Демосѳена, Цицерона, Виргилія [illegible] и въ Россіи окружались безграничнымъ уваженіемъ; когда же Руссо [illegible] и несмѣняемость литературныхъ [illegible] тогда и у насъ стали переводить [illegible] Флоріана, Бернардена [illegible] французскихъ [illegible] подражать [illegible] [illegible] [illegible]

Среди изнѣженнаго, блестящаго, образованнаго французскаго общества Руссо сталъ проповѣдывать простоту природы и величія первобытной буржуазной добродѣтели, согрѣтой влеченіями и потребностями сердца, и у насъ тотчасъ же объявились трогательныя души, способныя стенать и мечтать о тѣхъ первобытныхъ кроткихъ временахъ, когда всѣ люди были пастухи и братья.

Разумѣется, сентиментальная литература, имѣвшая у насъ такого представителя, какъ Карамзинъ, была такъ же фальшива, чисто подражательна, какъ чувства того круга нашего общества, въ которомъ она расходилась. Изъ подражанія французамъ, наши дѣды носили камзолы, парики, фижмы; изъ подражанія писали сентиментальные романы; изъ подражанія юноши и молодыя дѣвушки посѣщали мѣста, описанныя сентиментальными писателями, и бродили вдоль прудовъ, въ которыхъ такъ красиво и трогательно утопились чувствительныя героини; изъ подражанія въ московскихъ и петербургскихъ салонахъ проповѣдывали модную французскую философію.

Грянулъ политическій громъ первой французской революціи; французскій народъ показалъ, что литература— не пустякъ, не забава, что литературныя произведенія способны произвести революцію въ умахъ, а отъ послѣдней—одинъ шагъ до уличной, и въ Петербургѣ всѣ руководящіе, правящіе, преобладающіе и владѣющіе слои общества забили тревогу. Одно дѣло читать французскій романъ, говорить о всеобщей любви и мысленно жаждать жениться на крестьянкѣ, а другое—освободить крестьянъ, лишиться преобладающаго экономическаго и политическаго положенія и провести въ жизнь тѣ либеральные принципы, которыми такъ было удобно щеголять въ своихъ салонныхъ бесѣдахъ.

У русскаго дворянства тотчасъ же пропалъ вкусъ къ французской философіи и литературѣ и замѣнился оптимистическимъ патріотизмомъ. Подъ вліяніемъ французской литературы и культуры россіяне совершенно, было, забыли о собственной исторіи, собственной національности и національныхъ основахъ. Когда же революціонный терроръ поставилъ практически вопросъ о рабахъ и рабствѣ, тогда наши просвѣщенные россіяне сразу потеряли вкусъ къ французской философіи и вернулись къ національнымъ осно-

вамъ, восхищаясь и русскимъ національнымъ духомъ, и русскимъ квасомъ, и русскимъ добрымъ народомъ, и всѣмъ, что хотя и «кисло, солоно, мове», но зато «ме се Рюсъ—э ву саве».

Царственная ученица и другъ энциклопедистовъ велѣла придворнымъ лакеямъ снести бюстъ Вольтера въ подвалъ. Вслѣдъ за этимъ начинается Наполеоновская эпопея и 1812 г. Всѣ державные властители почувствовали, что ихъ троны шатаются, и направили всю энергію на приведеніе дѣла въ первоначальное состояніе. Все иноземное, а въ особенности французское подверглось изгнанію и осужденію.

Однако, когда наполеоновскій кошмаръ разсѣялся, народы сообразили, что иноземный владыка былъ не хуже и не лучше своего законнаго. Западные государи, запрятавъ «маленькаго капрала» на островъ св. Елены, спокойно вздохнули и снова крѣпко усѣлись на своихъ тронахъ. Они забыли обѣщанія, которыя надавали своимъ народамъ насчетъ свободныхъ государственныхъ учрежденій, и стали снова править при посредствѣ жестокихъ полицейско-бюрократическихъ мѣръ и вооруженной силы. Народамъ ничего не оставалось больше дѣлать, какъ начать борьбу съ правительствами подпольнымъ способомъ. Вездѣ возникли тайныя общества: въ Германіи—Burschenshaften, во Франціи—l'Union и l'Aide-toi, le Ciel t'aidra, въ Испаніи—Орденъ Молотка, въ Италіи—карбонаріи, въ Греціи—гетеріи, въ Россіи—декабристы.

Въ декабрѣ 1825 г. была сдѣлана попытка революціоннымъ путемъ измѣнить политическій строй Россіи, но картечь смела не только горсть возставшихъ, но и тѣ прекрасныя романтическія грезы, которыми питалась нѣкоторая часть русской интеллигенціи. Общество струсило и присмирѣло. «Среди радости и торжества зажиганія фейерверка оно жестоко обожгло себѣ пальцы».

Наступило мрачное суровое царствованіе Николая I. Мечты о братствѣ и равенствѣ, о политической свободѣ и соціальной справедливости улетучились такъ же быстро, какъ и возникли, и «свѣтскій міръ, отказавшись отъ своихъ старыхъ привычекъ, предался безобиднымъ занятіямъ: карточной игрѣ, увеселеніямъ, чтенію легкой французской литературы. Французская кадриль заняла мѣсто Адама Смита».

Казалось, прогрессъ былъ запечатанъ семью казенными печатями и сданъ на вѣчныя времена въ архивъ. Объ обще-

ственныхъ философскихъ вопросахъ и политикѣ никто не говорилъ. Всѣ умственныя силы сконцентрировались на изящной литературѣ и поэзіи. Сначала начальство недовѣрчиво смотрѣло на дѣятельность служителей музъ, но потомъ разрѣшило, даже благословило работу питомцевъ Парнасса. Жуковскій и его сотоварищи-романтики такъ рѣшительно и брезгливо отвернулись отъ всего настоящаго и прозаическаго, такъ далеко ушли въ своихъ «Двѣнадцати спящихъ дѣвахъ», «Свѣтланахъ», «Ундинахъ» «Сафиныхъ одахъ» и «Диѳирамбахъ на безсмертіе души» отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и «Правительственнаго Вѣстника», что самый придирчивый цензоръ, самый бодрствующій жандармскій глазъ не могли усмотрѣть ничего въ ихъ твореніяхъ противнаго существующему порядку вещей. Дворъ, такъ же какъ и помѣщики, цензора, духовенство и жандармы, съ неослабнымъ удовольствіемъ читалъ, поощрялъ, одобрялъ чувствительныхъ Кассандръ, Эрминій и «Плачъ араба надъ могилою коня». Эти ходульныя произведенія, перемѣшанныя съ легкими сатирическими опытами, историческими очерками, забавными анекдотами и соотвѣтствующею литературной критикой вполнѣ удовлетворяли тогдашнюю читающую публику. Повѣсти Загоскина или Марлинскаго вызывали гораздо больше толковъ, чѣмъ новый законъ и міровыя событія въ области политики или общественной жизни. Политическая система Николая Павловича, направленная противъ безпочвенности, философской болтовни, вредной мечтательности и интеллектуальной распущенности, какъ разъ вызвала въ интеллигентныхъ классахъ къ жизни всѣ эти качества. Загородивъ дорогу къ настоящему общественному дѣлу, она деморализировала массы и вызвала вкусъ къ трансцедентальной философіи, столь родственной романтической литературѣ. Русскіе профессора и студенты отъ сочиненій Шиллера и Гофмана перешли къ увлеченію Шеллингомъ, затѣмъ и Гегелемъ. Умы интеллигентной молодежи, казалось, навсегда утонули въ заоблачныхъ метафорахъ Шеллинга и его величественной и туманной картинѣ вселенной. Въ своемъ увлеченіи нѣмецкими философами русскіе перещеголяли самихъ нѣмцевъ.

Однако, Западная Европа не долго увлекалась романтизмомъ и трансцедентальною философіей. Нужды повседневной прозаической жизни взяли свое. «Образованная публика—

какъ говоритъ Уоллесъ—утомилась романтическими писателями, которые постоянно вздыхали, какъ доменная печь, услаждаясь въ безмолвіи холодной вѣчности, свѣтомъ луны, наводняя міръ изліяніями ихъ сердца и требуя отъ неба и земли, чтобы они въ ужасѣ присутствовали при ихъ Прометеевской агоніи или при ихъ Вертеровскомъ отчаяніи».

У насъ также здоровые вкусы стали брать верхъ надъ таинственными глубинами романтизма. Сначала явился Пушкинъ, а за нимъ Гоголь.

Живая обыденная русская дѣйствительность, наконецъ, наполнила салоны русской художественной литературы. Подъ дружный здоровый смѣхъ читающей публики типы «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» заставили исчезнуть философскую шумиху, блѣдные лики и высокія чувства романтическихъ героинь и героевъ.

Цензура и администрація забили тревогу. Смѣхъ надъ городничимъ и чиновными лицами хотя бы и захолустья не предвѣщалъ ничего хорошаго для существующаго порядка вещей. Но императоръ Николай былъ вполнѣ увѣренъ въ непогрѣшимости своей политической системы, въ несокрушимости своей абсолютной власти, въ могуществѣ своей имперіи. Онъ былъ увѣренъ, что новая школа окажетъ вліяніе только лишь чисто литературное и дастъ возможность самому государю, большому любителю театра, провести въ немъ нѣсколько лишнихъ веселыхъ вечеровъ.

Императоръ оказался неправымъ. Критика, которая требовала прежде красоты формъ и изящества выраженія, со времени «Онѣгина» и «Ревизора» стала уже требовать точности описанія, художественной правды. Это еще, конечно, требованія чисто эстетическія и не грозятъ умаленіемъ авторитета предержащимъ властямъ, но вслѣдъ за художественнымъ изображеніемъ родной дѣйствительности начинаетъ выступать нравственная оцѣнка описываемаго. Художникъ не можетъ быть фотографомъ, а потому критика требуетъ, чтобы въ своемъ произведеніи онъ показалъ читателю, какъ лично онъ относится къ своимъ героямъ. Авторы, описывая русскую дѣйствительность, уже не могли не высказывать своего нравственнаго одобренія или осужденія. Такимъ образомъ, наша литература прикрѣпляется къ родной почвѣ и становится національною и жизнеспособною, а съ другой стороны теряетъ характеръ «улыбательный», перестаетъ служить сред-

ствомъ развлеченія и услады и превращается въ народную школу и трибуну. Форма и фабула уже не являлись всѣмъ, а прикрывали лишь тотъ или другой нравственный принципъ.

Для грубаго полицейскаго глаза Николаевской администраціи истинное различіе между старою до-пушкинской литературой и новою было несущественно. Цензура, конечно, всячески опекала русскую литературу и оберегала отъ «излишествъ», но истребить ея моральнаго значенія не могла. Все, что могли сдѣлать охранители, это оберечь государственную власть и ея агентовъ отъ непосредственнаго литературнаго воспроизведенія и опороченія. Но идея не такъ проста и не такъ легко уловима. Нельзя было прямо указывать на административныя безобразія, чинимыя городовымъ, нумеръ бляхи такой-то, губернаторомъ такой-то губерніи, исправникомъ, министромъ; но, развѣ, вызывая состраданіе къ бѣдствіямъ Сидора или Петра, не надѣленныхъ никакимъ мундиромъ и никакой нумерованною бляхой, вы не заставляете читателя ужс самого разбираться въ вопросѣ, почему они не благоденствуютъ, а бѣдствуютъ? На помощь художественной литературѣ пришла литературная критика. Эти вожди новаго движенія стали внѣдрять въ сознаніе своихъ читателей, что порокъ и преступленіе происходятъ не отъ недостатковъ, врожденныхъ человѣческой природѣ, но отъ обстоятельствъ внѣшнихъ, отъ искусственныхъ препятствій, которыя безъ пользы, но съ несомнѣннымъ вредомъ противятся свободному и полному удовлетворенію нашихъ инстинктовъ и естественныхъ желаній.

«Дѣло совершенно неправдоподобное—говоритъ Чернышевскій по поводу «Губернскихъ очерковъ» Щедрина—для тѣхъ поверхностныхъ наблюдателей, которые не знаютъ, какъ много остатковъ и зародышей добра и благородства таится въ душѣ самаго дурного изъ дурныхъ людей, которые забываютъ, что самый закоснѣлый злодѣй—все-таки человѣкъ, т.-е. существо, по натурѣ своей наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всѣмъ дурнымъ, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанію, заблужденію или по вліянію обстоятельствъ сильнѣйшихъ, нежели его характеръ и разумъ, но никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру. Отстраните пагубныя обстоятельства, и быстро просвѣтлѣетъ умъ человѣка и облагородится его характеръ».

Какъ, на первый взглядъ, просто, наивно и безобидно совсѣмъ неантиправительственно: «отстраните пагубныя бстоятельства» и Россія переродится, потому что «просвѣлѣетъ умъ человѣка». Но попробуйте это «отстраните» перевести на языкъ конкретныхъ примѣровъ, что получится?.. Получится выводъ, что нравственный прогрессъ долженъ совершиться не черезъ постъ, молитву и убіеніе въ себѣ духа любомудрія и любоначалія, а черезъ преобразованіе общественнаго устройства. А такъ какъ всѣ государственные корни и нити» были въ рукахъ самодержавной бюрократіи, то отсюда выводъ ясенъ.

Было у насъ въ литературѣ того времени и другое теченіе, занесенное изъ Франціи. Оно полагало, что политическая революція и измѣненіе политическаго строя ничего не дастъ и что истинный прогрессъ можетъ быть достигнутъ только при посредствѣ радикальной реформы существующаго соціальнаго строя.

Вторая идея въ 40-хъ годахъ наиболѣе признана и распространена. Распространена!.. Это звучитъ необыкновенно странно для русскаго уха. Въ Россіи за распространеніе идей всегда слѣдовала кара. Во времена могильнаго благополучія и самаго дикаго произвола правительственной власти допускается литературная пропаганда идей, разрушающихъ старый соціальный строй и проповѣдующихъ радикальныя реформы въ области соціальной организаціи!.. И здѣсь мы сталкиваемся съ высокимъ невѣжествомъ правящихъ сферъ, не умѣвшихъ распознать серьезности и революціонной сущности новой идеи.

Императоръ Николай желалъ, чтобы его вѣрноподданные не занимались философіей и политикой, а работали бы надъ улучшеніемъ своего матеріальнаго благополучія. Это, во-первыхъ, хорошо для казны, при взиманіи податей и, во-вторыхъ, отвлекаетъ мысль отъ безсмысленныхъ мечтаній о конституціи. Если вѣрноподданные будутъ придумывать такіе способы хозяйственной и общественной жизни, при которыхъ производство товаровъ возрастетъ, количество денегъ въ странѣ увеличится, торговля разовьется, то отъ этого, кромѣ прибытка властямъ всѣхъ ранговъ, ничего не будетъ. Главное—чтобы писатели не подмигивали въ сторону древнихъ римскихъ республиканскихъ учрежденій, не пытались контрабандой повести мысль о конституціонной монархіи, не показывали

бы за спиной у начальства декабристовъ и французскихъ террористовъ. И дѣйствительно, новыя идеи въ этомъ смыслѣ вели себя вполнѣ благонадежно. Однако, пролетарская революція 1848 г. показала, что русское правительство со своею охранной политикой сыграло комическую роль спящихъ дѣвъ. Но оно быстро спохватилось и воспрянуло. Послана была армія для подавленія возстанія въ Венгріи, а внутри усиленъ надзоръ за печатью и обществомъ. Всѣмъ приказано было мыслить и писать съ точки зрѣнія шефа жандармовъ гр. Бенкендорфа: «Прошедшее (Россіи) было удивительно, настоящее болѣе чѣмъ великолѣпно, а будущее превзойдетъ все то, что можетъ представить человѣческое воображеніе».

Казалось, что на огромномъ пространствѣ, занятомъ русскимъ народомъ, все смолкло и всякій прогрессъ въ области идей и общественной жизни прекратился навсегда. Исторія народа остановила свое теченіе, и даже лучшіе умы готовы были вторить пророчеству шефа жандармовъ. «Мы не должны отнимать у Европы нашей о ней заботливости—писалъ Чаадаевъ.—Ея враждебность не должна отклонять насъ отъ нашего высокаго призванія спасать порядокъ и давать покой народамъ».

Но правительство и поверхностные наблюдатели обманывались насчетъ истиннаго порядка вещей. Идеи западной цивилизаціи уже прочно пустили корни въ русскую землю, но только умы, которые имъ сочувствовали, были доведены до насильственнаго молчанія. Начали образовываться общества, внимательно слѣдившія за перипетіями соціальной борьбы на Западѣ, и внимательно изучать экономическіе, политическіе и соціальные вопросы. Все больше и больше выяснялось глухое броженіе умовъ, и зрѣла ненависть къ политическому самодержавному режиму.

Вспыхнула Крымская война, и могущество Россіи оказалось призрачнымъ. Кончилась кампанія, и взамѣнъ началась внутренняя война. Точно по мановенію волшебнаго жезла все, что было мыслящаго въ странѣ, со страстнымъ энтузіазмомъ заговорило о политическихъ и соціальныхъ реформахъ.

Отъ края и до края раздался вопль: «Свобода!». Россія приведена на край гибели самодержавно-бюрократическимъ строемъ! Такъ жить дальше нельзя!

И здѣсь въ первыхъ рядахъ борющихся оказалась литература. И славянофилы и западники требовали свободы и только въ свободныхъ формахъ общественной и государственной жизни видѣли спасеніе опозоренной родины. Но въ то время какъ славянофилы съ недовѣріемъ относились къ западной цивилизаціи и требовали возвращенія «къ себѣ домой», въ до-петровскую Русь, западники призывали завершить дѣло Петра: вмѣсто окна, прорубленнаго великимъ реформаторомъ, разрушить вовсе стѣну, отдѣляющую насъ отъ Европы. На этой почвѣ между литературными лагерями завязалась упорная борьба въ острыхъ формахъ.

Въ этотъ моментъ начинаетъ свою литературную дѣятельность гр. А. Толстой.

Куда же онъ примкнетъ? Въ ряды какой партіи станетъ? Кого станетъ поддерживать его художественный талантъ? Примкнетъ ли онъ къ романтикамъ-націоналистамъ, выступившимъ подъ кличкой славянофиловъ, или подастъ руку прогрессистамъ-западникамъ? Ополчится ли онъ противъ заносной цивилизаціи и космополитизма или признаетъ славянофильство слѣпымъ патріотизмомъ и продолженіемъ моды, явившейся какъ реакція противъ владычества Наполеоновской имперіи? Отринетъ ли онъ Петра съ его новшествами, оставшимися чуждыми для народныхъ массъ, или признаетъ необходимымъ завершить политическое строеніе въ духѣ великаго преобразователя введеніемъ европейскихъ либеральныхъ учрежденій.

Прочтите внимательно произведенія нашего поэта, и вамъ прежде всего бросится въ глаза основное свойство его дарованія—художественность, совершенство формы, красочность, пластичность, музыкальность стиха, изобразительная способность. Это прежде всего художникъ. Ближе всего для него искусство и художественное воспроизведеніе дѣйствительности.

Что же онъ увидѣлъ среди писателей лѣваго лагеря?

Во главѣ литературной критики стоитъ Добролюбовъ. Что же онъ требуетъ отъ художника? Прежде всего отзывчивости на злобу дня. «Всѣ колебанія общественной мысли» должны, по его мнѣнію, встрѣчать чуткій отголосокъ въ душѣ художника. Отъ художника онъ требуетъ «живого отношенія къ современности». Критикъ требуетъ прежде всего общественно цѣнной идеи, а эстетическая сторона произве-

денія его нисколько не занимаетъ, ибо «ею могутъ интересоваться развѣ только чувствительныя провинціальныя барышни». Теперь не время заниматься красотой, формами. Въ то время, когда все мыслящее занято борьбой съ отживающимъ строемъ, надо дружно сплотиться всѣмъ и ударить на врага. Художественная литература должна поэтому взять на себя служебную роль и стать публицистической. За Добролюбовымъ то же повторяетъ Чернышевскій, а вслѣдъ за ними идутъ связанные партійною дисциплиной всѣ другіе западники—соціалисты и конституціоналисты. На крайней лѣвой ораторствуетъ Писаревъ. Этотъ уже вовсе разрушаетъ эстетику. Онъ знать ничего не желаетъ, кромѣ естествознанія. Онъ прежде всего спрашиваетъ писателя, знаетъ ли тотъ физіологію и читалъ ли онъ матеріалистовъ. Если беллетристъ или художникъ не знакомъ съ Молешотомъ и Бюхнеромъ, то онъ имъ совѣтуетъ внимательно прочесть ихъ сочиненія, а затѣмъ популяризировать ихъ въ стихахъ и прозѣ по принадлежности. «Надо—говоритъ Писаревъ—проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и пламенною любовью къ распластанной лягушкѣ. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа».

Могъ ли гр. А. Толстой съ его тонко-художественною натурой «проникнуться глубочайшимъ признаніемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ»? Онъ, не могшій мыслить иначе какъ образами, и образами, чарующими своею внѣшнею красотой, долженъ былъ въ своихъ чудныхъ стихахъ воспѣвать мускулы, связки, костякъ, нервную систему и разнообразныя физіологическія отправленія организма спасительницы и обновительницы русскаго народа. Гр. А. Толстой долженъ былъ, если бы захотѣлъ слѣдовать за Писаревымъ, предать анаѳемѣ Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова и даже Крылова, какъ «зародышей» поэтовъ. Но этого мало. Самъ Пушкинъ, краса и гордость русской художественной литературы, оказывается явленіемъ отрицательнымъ, ибо онъ, какъ оказывается, «поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предразсудки, которые всякій мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній». Да и вообще, по мнѣнію литературной крайней лѣвой,

поэзія можетъ быть допущена только въ томъ случаѣ, когда она дополняетъ для насъ газету или журналъ, т.-е. даетъ фактическій матеріалъ извѣстнаго прогрессивно-общественнаго качества. Поэтовъ и прозаиковъ мы можемъ «пробѣгать», такъ какъ «мы пробѣгаемъ отдѣлъ иностранныхъ извѣстій въ газетѣ». Словомъ, «нигилисты» съ Писаревымъ, Зайцевымъ, Н. В. Соколовымъ, Шелгуновымъ и Щаповымъ рѣшили основательно покончить съ наслѣдіемъ прошлаго и уничтожить все, что существовало до 60-хъ годовъ въ области литературной и общественной жизни.

Могъ ли гр. А. Толстой примкнуть къ этому лагерю? Могъ ли онъ вмѣшаться со своею сладкозвучною лирой въ эту свалку, когда онъ весь—изящество, поэзія, его взоръ вѣчно устремленъ въ небеса или лелѣетъ картины идиллическаго прошлаго? Его слухъ часто ласкаютъ неземные звуки, «онъ слышитъ райскіе напѣвы», «что́ жизни мелочные сны», что́ вопли, соціальныя и политическія программы утопистовъ-соціалистовъ, народниковъ-коммунистовъ и реальныхъ политиковъ «для гостя райской стороны». Въ своемъ стихотвореніи «И. С. Аксакову» гр. А. Толстой говоритъ:

...Жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа.

По самой природѣ своей онъ неспособенъ къ той борьбѣ, которая лежитъ въ основаніи соціальной политики. Для этого у нашего поэта нѣтъ ни достаточной ненависти къ старому, ни достаточнаго вооруженія для борьбы съ ортодоксальнымъ новымъ. Но, быть-можетъ, славянофилы привлекутъ въ свой лагерь чуткую душу поэта? Они враждебны той землѣ и тѣмъ порядкамъ, которые созданы и раціонализмомъ и соціализмомъ. Они плѣняютъ сердце проповѣдью любви и братства, построенныхъ на завѣтахъ восточной православной церкви. Они призываютъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Руси вернуться къ чистымъ струямъ христіанской общины и жизни христіанскихъ мучениковъ. Они, наконецъ, имѣютъ въ запасѣ для поэтическаго воображенія цѣлый арсеналъ приманокъ: они зовутъ въ старую Москву, въ ту Москву, которая выстроила Кремль съ древними церквами, съ гробницами великихъ князей и святыхъ мучениковъ. Снова возсіяютъ дворцы, въ которыхъ жили богобоязненные и

патріархальные московскіе цари, сильные въ бою съ басурманами, грозные врагамъ народа и еретикамъ и смиренно выслушивавшіе въ боярской думѣ совѣты сѣдовласыхъ умудренныхъ житейскимъ опытомъ старцевъ. Тамъ чтимыя народомъ чудотворныя иконы, не разъ спасавшія народъ отъ надвигавшихся бѣдствій, а вотъ Лобное мѣсто... Съ него снова раздадутся въ торжественныхъ случаяхъ рѣчи царей и патріарховъ...

Неужели романтическая душа поэта не откликнется на призывъ славянофиловъ, также насквозь пропитанныхъ романтическимъ духомъ? Здѣсь ли нѣтъ мѣста для творческой фантазіи? Здѣсь ли недостаточно колорита? Здѣсь ли не полная гамма красокъ? Здѣсь ли нѣтъ простора для вымысла? Здѣсь ли не мѣсто широкой славянской натурѣ?

Да, дѣйствительно въ Московскомъ царствѣ есть все, что родственно натурѣ А. Толстого, кромѣ самаго главнаго—свободы личности. Московскій періодъ нашей исторіи для А. Толстого тѣсно связанъ съ рабствомъ и грубымъ деспотизмомъ. «Моя ненависть—пишетъ онъ въ 1869 г.—къ московскому періоду есть идіосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю. Это не тенденція,—это я самъ. Откуда взяли, что мы антиподы Европы? Туча прошла надъ нами, облако монгольское, но это была лишь туча, и чортъ долженъ поскорѣе убрать ее».

Онъ не желаетъ калифа, будетъ ли этотъ послѣдній называться императоромъ Николаемъ I, Иваномъ Грознымъ, славянофильствомъ, шовинизмомъ или матеріализмомъ.

Откуда бы ни исходилъ абсолютизмъ—съ высоты ли престола или изъ кабинета ученаго, кѣмъ бы онъ ни осуществлялся—приказными московской Руси, чиновниками министерства внутреннихъ дѣлъ или журналистами, онъ былъ ненавистенъ свободолюбивому А. Толстому. И среди вельможъ, гдѣ ему принадлежало далеко не послѣднее мѣсто, и среди оппозиціонныхъ славянофиловъ, превозносившихъ все русское и порицавшихъ все иноземное, и среди прогрессистовъ, порицавшихъ все русское и превозносившихъ все иноземное, нашъ поэтъ чувствовалъ себя «полнымъ мученія и скуки».

Какъ художникъ по духу, по крови, А. Толстой не выносилъ литературныхъ произведеній, напоминавшихъ «вывѣску съ нарисованнымъ указательнымъ перстомъ». Въ его

[illegible]

[illegible] Вальвера [illegible]

[illegible] на чело [illegible]

[illegible] бы [illegible] и [illegible]

[illegible]ую хулу, [illegible]

[illegible] то время [illegible]

[illegible] обвиняя въ [illegible]

[illegible] не могъ забыть того,

[illegible] другъ царя. Одни кричали,

[illegible] другіе, что онъ противъ «исконныхъ»

[illegible] Иногда его считали «своимъ»

[illegible] иногда—завадникомъ и [illegible]

А. Толстого была во всѣхъ [illegible]

[illegible] заключая ни съ однимъ

[illegible] ни въ одну партійную про

[illegible] ни одного [illegible]

[illegible] Бернара [illegible]

[illegible]

къ обвиненію въ безпринципности, безыдейности и переметчивости. Общество и литература вели жестокій бой съ архаическими формами политическаго и соціальнаго строя. Врагъ народа былъ слишкомъ силенъ, а потому требовалась со стороны бойцовъ большая напряженность силъ, недостижимая безъ концентраціи и суровой дисциплины. Дробленіе силъ не могло быть допущено ни подъ какимъ видомъ. Или становись въ ряды партій безусловно, или ты—врагъ. Въ такой историческій моментъ индивидуальное міросозерцаніе и условное участіе въ общей работѣ такъ же не допускается, какъ самыя разумныя разсужденія со стороны бойцовъ на полѣ брани. Главнокомандующій объявляетъ диспозицію, въ которой точно указано расположеніе войскъ на полѣ брани, время и направленія движенія во время боя, и никакой военачальникъ или солдатъ не могутъ отступать отъ начертаннаго плана.

Правда, муза Толстого пѣла о любви, братствѣ и свободѣ, но это въ то время было мало. Всѣ требовали отъ писателя переведенія этихъ отвлеченныхъ понятій на конкретную почву. Мало сказать: свобода, надо еще указать, что ты подъ этимъ подразумѣваешь: какую свободу, въ какихъ конкретныхъ формахъ ты полагаешь необходимою для страны и общества. Славянофилы предлагали свободу отъ заморскихъ порядковъ, учрежденій, идей и нравовъ подъ патріархальной, православно-московской твердой державой царей; лѣвые представляли себѣ свободу въ формѣ соціализма и конституціонной, на западный образецъ, монархіи.

Алексѣй Толстой былъ слишкомъ европеецъ, чтобы примкнуть къ наивнымъ, эксцентричнымъ мечтателямъ славянофиламъ, но въ то же время онъ не становился и на сторону соціалистовъ-парламентаріевъ. Онъ не былъ зараженъ археологическимъ патріотизмомъ славянофиловъ и полагалъ, въ то же время, что пересадить къ намъ цѣликомъ либеральныя учрежденія и утопіи соціализма по образцамъ Запада и научныхъ теорій—мечта.

Такова его отрицательная программа. Положительная часть его политической программы не совпадаетъ съ отрицательной и не вырастаетъ на ея принципахъ.

Гр. А. Толстой желалъ бы тоже измѣненія существующаго порядка вещей въ сторону свободы, но ищетъ ее не въ Петровскомъ періодѣ нашей исторіи и не въ Московскомъ, а

въ древнѣйшемъ. Въ древне-вѣчевомъ укладѣ Новгородской и Кіевской Руси, по убѣжденію нашего поэта, были тѣ нравы и формы общественной, семейной и индивидуальной жизни, которыя шли рука-объ-руку съ дѣйствительною свободой, человѣческимъ достоинствомъ и истинной нравственностью.

Для западниковъ настоящая Россія начиналась послѣ Петра, для славянофиловъ—послѣ Ивана Калиты, а для А. Толстого—послѣ Рюрика. Такимъ образомъ, нашъ поэтъ въ сильной степени является, въ концѣ-концовъ, политическимъ сторонникомъ славянофиловъ. Какъ и они, онъ идеализируетъ русскую старину, хотя и не Московскаго, а Удѣльнаго періода; онъ смягчаетъ свое тяготѣніе къ политическому абсолютизму, желаніемъ вѣчевой, княжеской старины; онъ политическій романтикъ, такъ же какъ и славянофилы, потому что его общественные и политическіе взгляды носятъ въ себѣ всѣ отличительныя свойства фантастичности, необычайности и практической наивности. Правда, А. Толстому кажется, что княжеская Русь имѣла живое общеніе съ Западомъ и въ ней не были извѣстны деспотизмъ и косность Московской Руси.

Не находя отрадныхъ моментовъ въ настоящемъ общественномъ укладѣ русской жизни, не признавая ихъ и въ объединенной Московской Руси, нашъ идеалистъ-поэтъ самъ создалъ, при посредствѣ богатой фантазіи и поэтическаго творчества, обѣтованную землю. Это—Русь Ярослава, Изяслава, Владимира, Ильи Муромца и Садко.

Вольнолюбивая душа поэта, не видя вокругъ себя «правды святой», ушла въ міръ золотыхъ грезъ и въ историческихъ драмахъ, романахъ, балладахъ, поэмахъ и былинахъ реставрировала и воспѣла дивный край, гдѣ младенчески чистый русскій народъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ такъ, какъ того жаждалъ самъ поэтъ.

Въ его время складывались уже политическія партіи и переходы отъ литературной программы къ практической. Вопросъ о необходимости свободы сталъ трюизмомъ. Оппозиціонныя партіи исповѣдывали европейскій политическій символъ вѣры и твердо были убѣждены, что спасеніе Россіи,—а она нуждалась въ спасеніи,—въ осуществленіи политическихъ реформъ по образцу западныхъ конституціонныхъ странъ. Разумѣется, среди этого лагеря до фана-

тизма воодушевленныхъ людей, связанныхъ между собою желѣзною дисциплиной политической необходимости, фигура мечтательнаго поэта съ дѣтски наивною программой общественной свободы могла вызвать только смѣхъ или рѣзкое осужденіе.

Вотъ почему борьба за общественные идеалы помѣшала нашей критикѣ по достоинству оцѣнить крупное дарованіе гр. А. Толстого.

Его лирика, его дивный даръ пѣснопѣній остался въ тѣни, и только время внесло поправки въ приговоръ современниковъ поэта. Общество, которое признавало, что «поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ» смягчило, мало-по-малу, свой слишкомъ рѣзкій приговоръ и признало, что лирика нашего поэта должна пережить односторонній приговоръ современниковъ. Въ такой переходный періодъ, какъ время А. Толстого, въ періодъ, когда настоящее представляется глубоко-отвратительнымъ, общество раскалывается на двѣ протестующія половины. И та и другая часть общественныхъ силъ стремится уничтожить существующій порядокъ вещей, но дѣлаетъ это по-разному. Одни видятъ улучшеніе въ стремленіи впередъ, другіе къ возврату назадъ. Согласно съ этимъ выдаются и два типа умовъ: люди, гордо и смѣло идущіе къ загорающемуся вдали свѣту новой жизни; они, какъ говоритъ Грановскій, обладаютъ «чуткимъ слухомъ и зоркимъ окомъ», не дающимъ «спотыкаться о развалины прошлаго», и люди, въ душѣ и умѣ которыхъ воплощена вся красота, благородство, достоинство и нравственная сила отошедшаго въ историческое бытіе прошлаго; за первыми побѣда, за вторыми—честная доблестная защита. Толстой одинъ изъ лучшихъ виднѣйшихъ представителей второго типа.

I.

Въ 1816 г. Анна Алексѣевна Перовская была обвѣнчана съ гр. Константиномъ Петровичемъ Толстымъ, а 24-го августа 1817 г. у нихъ родился сынъ Алексѣй, ставшій впослѣдствіи знаменитымъ поэтомъ.

Мать нашего поэта происходитъ изъ исторически-извѣстнаго малороссійскаго рода Разумовскихъ. Какъ извѣстно, у украинскаго казака Разума былъ сынъ Алексѣй Гри-

горьевичъ, занимавшій въ своемъ селѣ невысокое положеніе пастуха. Какъ это часто встрѣчается на Украйнѣ, у Алексѣя Григорьевича былъ красивый голосъ, благодаря которому онъ попалъ въ придворные пѣвчіе, а красивая внѣшность сдѣлала его фаворитомъ императрицы Елизаветы Петровны и подняла на высшія ступени богатства, общественнаго положенія и служебной карьеры.

У брата Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, Кирилла Григорьевича, человѣка умнаго и блестяще образованнаго за границей, былъ сынъ Алексѣй Кирилловичъ. Алексѣй Кирилловичъ былъ видный вельможа Александровскаго времени. Отъ такъ-называемаго незаконнаго брака графа Алексѣя Кирилловича съ дѣвицей Маріей Михайловной Соболевской родились одиннадцать дѣтей; для насъ представляютъ интересъ только Алексѣй и Анна. Имъ дали фамилію Перовскихъ, узаконили и даровали дворянское званіе. Анна Алексѣевна и была матерью нашего поэта.

Говорятъ, что всѣ великіе люди имѣли выдающихся по уму и душевнымъ качествамъ матерей. Если судить объ этой теоріи наслѣдственности по А. Толстомъ, то она вполнѣ справедлива. Въ то время какъ его отецъ былъ человѣкъ вполнѣ ничтожный и даже ограниченный, мать славилась въ Петербургѣ и своей красотой и своимъ выдающимся умомъ.

Родители А. Толстого недолго прожили вмѣстѣ. Алешѣ еще не исполнилось и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ уже покинулъ съ матерью Петербургъ и поселился у своего дяди и брата своей матери Алексѣя Алексѣевича Перовскаго, въ Черниговской губ., Мглинскаго уѣзда, имѣніи Красный-Рогъ.

Дядя нашего поэта оказался не менѣе своей сестры человѣкомъ большого ума, хорошаго образованія и добраго сердца. Онъ вполнѣ замѣнилъ для Алеши отца и сумѣлъ воспитать въ немъ чуткую душу и острый умъ. Всѣ дѣти гр. А. К. Разумовскаго, бывшаго при Александрѣ I министромъ народнаго просвѣщенія, получили тщательное образованіе, а благодаря связямъ отца сдѣлали хорошую служебную карьеру.

Дядя нашего поэта въ 1825 г. былъ назначенъ попечителемъ харьковскаго учебнаго округа, но служба, видимо, занимала его мало. Онъ предпочиталъ ей занятіе литературой и искусствомъ. Видимо, художественныя склонности родоначальника-пастуха не умирали въ семьѣ Разумовскихъ.

Самъ графъ Алексѣй Кирилловичъ принималъ активное участіе въ извѣстномъ литературномъ обществѣ Шишкова, извѣстномъ подъ именемъ «Бесѣдъ любителей россійскаго слова».

А. А. Перовскій писалъ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Замѣчательно, что въ его многочисленныхъ разсказахъ отсутствуетъ совершенно тенденція. Быть-можетъ, чисто художественная натура Перовскаго была склонна съ этой же точки зрѣнія разсматривать дѣятельность беллетриста и поэта, и въ этомъ же духѣ дядя воспитывалъ, надо полагать, и нашего поэта.

Мѣсто, гдѣ Алеша провелъ свое раннее дѣтство и «вкусилъ первыя радости бытія», было самымъ подходящимъ для воспитанія будущаго поэта. Помимо связей, гр. А. К. Разумовскій оставилъ дѣтямъ большія средства, которыя достались ему въ видѣ обширныхъ помѣстій его отца, Кирилла Разумовскаго, послѣдняго гетмана Малороссіи. Главное изъ этихъ имѣній было мѣстечко Почепъ, Мглинскаго уѣзда, гдѣ до своей смерти, которая послѣдовала въ 1822 г., жилъ самъ гр. Алексѣй Кирилловичъ; по сосѣдству были расположены помѣстья его дѣтей: Погорѣльцы, въ которыхъ поселился А. А. Перовскій, и Красный-Рогъ, гдѣ въ старой гетманской усадьбѣ, въ красивомъ охотничьемъ домѣ, построенномъ знаменитымъ архитекторомъ Растрелли, жила графиня Анна Алексѣевна Толстая.

Дворецъ этотъ, какъ и всѣ загородные дома гетмана, былъ деревянный, но отличался красотой фасада и удобствомъ расположенія комнатъ. Онъ стоялъ вдали отъ крестьянскихъ хатъ, и широкія липовыя аллеи вели къ его главному подъѣзду; съ другой стороны къ дому примыкалъ обширный садъ, спускавшійся къ красивой рѣкѣ. Средину зданія занимала большая столовая, надъ которой былъ устроенъ бельведеръ, откуда открывался прекрасный видъ на всю усадьбу, рѣку и безграничныя лѣсныя дали. Не было здѣсь лишней роскоши, но весь домъ производилъ впечатлѣніе барской усадьбы, въ которой все красиво, просто и удобно. Проживъ шесть лѣтъ въ деревнѣ, графиня снова вернулась на берега Невы. Зимою 1826 г. салоны Петербурга снова широко открыли двери молодой красавицѣ.

Василій Алексѣевичъ Перовскій былъ хорошо знакомъ съ нашимъ поэтомъ и воспитателемъ наслѣдника престола

[illegible]

[illegible] нѣтъ и его [illegible] [illegible] имъ. Самаго въ [illegible] [illegible] почему первая поѣздка [illegible] путешествій за границу. [illegible] ему больше всего понравилась [illegible] единственно. Страна, [illegible] [illegible] имущества, тысячелѣтія [illegible] страна, изобилующая [illegible] природы, не могла не понравиться [illegible] чудный край, гдѣ такъ чисто [illegible] зеленой листвы померанцы, желтѣютъ [illegible] птица звонче поетъ, розы цвѣтутъ [illegible] не могъ не произвести [illegible] того, кто самъ былъ сотканъ изъ [illegible] [illegible] и матерью путешествовать [illegible] еще не было, и имъ приходилось [illegible] въ Маретъ. [illegible] впечатлѣнія, конечно, проигрывали [illegible] въ сравненіи [illegible] Дикорой человѣкъ [illegible] [illegible] Не [illegible]

тешествіе, сдѣланное въ дѣтствѣ А. Толстымъ, рельефно врѣзалось въ его память, а воспоминанія о немъ изобилуютъ массой интересныхъ подробностей, возможныхъ только при добромъ старомъ примитивномъ способѣ передвиженія.

Наши путешественники посѣтили городъ гондолъ и каналовъ—Венецію; торговую и нѣкогда могучую, блистательную Геную; Лукку съ его извѣстнымъ соборомъ Санъ-Мартино и знаменитой капеллой, гдѣ хранится высокочтимое изображеніе распятаго Христа; древній Миланъ съ его картинною галлереей, дворцами, знаменитымъ опернымъ театромъ, безчисленными соборами и научно-художественными учрежденіями; нѣкогда столичную могущественную Флоренцію съ ея великолѣпной площадью, памятниками, статуями, дворцами, знаменитыми картинными и скульптурными галлереями и безчисленными театрами; Пизу съ ея падающей башней и сѣрными источниками; Верону съ поэтическими развалинами гробницы Ромео и Джульетты и знаменитымъ древнимъ амфитеатромъ съ ареной на 22 тысячи человѣкъ; наконецъ, Фолинью, Civita Castellana и черезъ Piazza del Popolo въѣхали въ знаменитый, многострадальный, изъ пепла возрождавшійся и повелѣвавшій нѣкогда всѣмъ міромъ Римъ. Изъ Рима черезъ Гаэту проѣхали въ «кусокъ неба, упавшій на землю», т.-е. Неаполь, а изъ Неаполя моремъ вернулись въ Геную.

Помимо безчисленныхъ впечатлѣній отъ природы, нравовъ, культуры и искусства Италіи, наши путешественники сдѣлали много интересныхъ знакомствъ, по преимуществу въ мірѣ художниковъ. Между прочимъ, они познакомились съ нашимъ знаменитымъ художникомъ К. П. Брюлловымъ, какъ извѣстно, бо́льшую часть своей сознательной жизни проведшимъ въ Италіи. Красивый Алеша очень понравился художнику, и «русскій Рафаэль» нарисовалъ будущему поэту картинку въ его альбомъ.

Со времени этого путешествія Италія навсегда осталась для Толстого духовною родиной, и онъ охотно возвращался въ Римъ. Надо полагать, что многочисленныя и глубокія впечатлѣнія итальянскаго искусства не остались безъ вліянія на художественную натуру А. Толстого и усилили въ немъ склонность къ эстетизму. Античное искусство итальянскихъ художниковъ заложило въ душу поэта любовь къ пластичности, внѣшней красотѣ, гармоніи формы и мысли. Итальянское искусство выработало въ Толстомъ то, что въ живописи

называютъ рисункомъ. А. Толстой, такъ же какъ и Брюлловъ, не могли въ своихъ произведеніяхъ отдѣлить эти два элемента. «Мысль и рисунокъ, говоритъ Брюлловъ, это мужъ и жена. Чувство сѣетъ въ художникѣ мысль, рисунокъ рождаетъ ее; одно безъ другого нѣмо и безплодно»:

Въ 1834 году мы застаемъ всю семью въ Москвѣ. А. А. Перовскій жилъ здѣсь бариномъ и меценатомъ. Онъ даже залучилъ къ себѣ въ домъ К. П. Брюллова, написавшаго уже свою знаменитую картину «Послѣдній день Помпеи» и приглашеннаго профессоромъ въ академію художествъ. Перовскій пригласилъ ставшаго міровою извѣстностью художника къ себѣ, надѣясь заставить его работать и написать за крупный гонораръ семейные портреты. Но своеобразная натура художника, неудачная женитьба и аневризмъ взяли свое. Брюлловъ закутилъ и, къ великому огорченію мецената, чуть не тайкомъ убѣжалъ изъ его дома. Въ это время все же были написаны К. П. Брюлловымъ портреты А. А. Перовскаго и гр. А. К. Толстого, но портрета графини Анны Алексѣевны Брюлловъ даже не начиналъ. Графъ А. К. Толстой изображенъ стройнымъ юношей, въ охотничьемъ костюмѣ, съ ружьемъ и легавой собакой. По мнѣнію А. В. Мещерскаго, портретъ этотъ вполнѣ удался художнику, который «достигъ разительнаго сходства и опоэтизировалъ тѣ черты, которыя заслуживали художественной отдѣлки». Не даромъ все семейство было отъ этого портрета въ восторгѣ.

Въ это время Толстой поступилъ на службу въ московскій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Судьба точно нарочно толкаетъ будущаго сторонника вѣчевой Руси къ хранящимся въ архивѣ древнимъ договорамъ Новгорода съ русскими князьями и грамотами московскихъ и другихъ удѣльныхъ князей. Здѣсь же и переписка русскихъ государей XVII вѣка. Служба въ архивѣ, такъ же какъ и во всѣхъ нашихъ казенныхъ учрежденіяхъ, едва ли была утомительная, потому что А. Толстой одновременно числился студентомъ университета. Черезъ годъ, по Высочайшему повелѣнію, онъ получилъ отпускъ за границу, вернулся 4-го ноября 1835 г. и почти тотчасъ же подалъ прошеніе о допущеніи его къ экзаменамъ. Экзаменъ онъ выдержалъ и получилъ аттестатъ отъ совѣта университета (4-е января 1836 г.). Этотъ аттестатъ давалъ право на вступленіе въ первый разрядъ чиновниковъ государственной службы. Когда идетъ вопросъ о нашихъ уни-

верситетахъ 30-хъ годовъ, то надо просить читателя не смѣшивать ихъ съ высшими учебными заведеніями того типа, который мы привыкли связывать съ представленіемъ о высшемъ образованіи и болѣе или менѣе порядочной научной подготовкѣ. Грановскій также въ эти годы былъ въ университетѣ и при всей своей снисходительности затруднялся указать впослѣдствіи на какія бы то ни было научныя достоинства своихъ профессоровъ. Въ 1856 г. товарищъ Грановскаго по университету В. В. Григорьевъ пишетъ: «Многихъ тогдашнихъ профессоровъ, отчасти даже знаменитостей, не сдѣлали бы теперь учителями въ порядочныхъ гимназіяхъ». При учрежденіи въ 1755 г. московскаго университета въ указѣ Елизаветы Петровны сказано, что университетъ долженъ замѣнить неучей-педагоговъ. «Великое число въ Москвѣ у помѣщиковъ на дорогомъ содержаніи учителей, изъ которыхъ бо́льшая часть не только учить науки не могутъ, но и сами къ тому никакого начала не имѣютъ, и только черезъ то младыя лѣта учениковъ и лучшее время къ ученью пропадаютъ». То же самое можно было сказать и о московскомъ университетѣ во времена юности Толстого. Профессора замѣнили собой педагоговъ доуниверситетскаго періода и такъ же какъ и послѣдніе не только «учить науки» не могли, но и сами не отставали въ невѣжествѣ отъ своихъ предшественниковъ.

Вотъ почему громкой фразѣ объ удачномъ университетскомъ экзаменѣ А. Толстого и полученіи «искомой степени» не слѣдуетъ придавать большого значенія.

О Толстомъ того времени мы имѣемъ характеристику извѣстнаго общественнаго дѣятеля и автора интересныхъ воспоминаній кн. Алекс. Васильев. Мещерскаго. Мещерскій въ молодости былъ очень друженъ съ нашимъ поэтомъ и восторженно отзывается объ его нравственныхъ качествахъ. «Подобной ясной и свѣтлой души, пишетъ князь, такого отзывчиваго и нѣжнаго сердца, такого вѣчно присущаго въ человѣкѣ высокаго нравственнаго идеала, какъ у Толстого, я въ жизни ни у кого не видалъ». Объ умственныхъ достоинствахъ своего друга Мещерскій тоже лестнаго мнѣнія. Онъ особенно отмѣчаетъ его необыкновенную память. Толстой могъ, бѣгло прочтя большую страницу прозы, повторить ее на память безъ единой ошибки.

Вскорѣ послѣ университетскихъ экзаменовъ Толстой долженъ былъ снова покинуть Россію. Заболѣлъ А. А. Пе-

ровскій и по совѣту врачей долженъ былъ ѣхать на знаменитый итальянскій курортъ—Ницу. А. Толстой рѣшилъ сопровождать больного и, получивъ 13-го іюня отпускъ на четыре мѣсяца, выѣхалъ изъ Москвы. Путешествіе на этотъ разъ оказалось нерадостнымъ. Болѣзнь дяди неожиданно въ дорогѣ обострилась, и поѣздка прервалась въ Варшавѣ. Были приглашены врачи, но ихъ искусство оказалось безсильно... 9-го іюля 1836 г. духовный отецъ, другъ и воспитатель нашего поэта скончался на рукахъ своего Алеши.

Перовскій оставилъ А. Толстому все свое большое состояніе.

II.

Похоронивъ дядю, Толстой поспѣшилъ съ печальною вѣстью къ матери, жившей въ Петербургѣ. Вѣроятно и графиня была потрясена смертью близкаго и дорогого человѣка. Чтобы не разставаться съ одинокою матерью, Толстой рѣшилъ бросить Москву. И дѣйствительно, онъ больше въ нее не возвращается и переводится на службу въ Петербургъ въ департаментъ хозяйственныхъ и счетныхъ дѣлъ. Департаментскую службу онъ мѣняетъ временно на дипломатическую: ѣдетъ во Франкфуртъ-на-Майнѣ въ нашу миссію, а вернувшись оттуда, поступаетъ во II отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи.

Параллельно съ его чиновничьею карьерой движется и его офиціальное положеніе при дворѣ. Сначала Толстой получаетъ придворное званіе, столь низко цѣнимое при Петрѣ I и повышенное при Аннѣ Іоанновнѣ—камеръ-юнкера, а затѣмъ, въ 1851 г., мы видимъ уже нашего поэта въ придворномъ званіи 5-го класса, т.-е. церемоніймейстеромъ двора. Однако, офиціальное положеніе Толстого значительно уступало его дѣйствительному положенію при дворѣ. Будучи церемоніймейстеромъ, онъ былъ избавленъ отъ всякихъ церемоній при своихъ сношеніяхъ съ Наслѣдникомъ. Онъ пользовался правомъ во всякое время входить къ нему безъ доклада.

Въ свои молодые годы А. Толстой ничѣмъ не отличался отъ своихъ сверстниковъ, принадлежащихъ къ такъ-называемой золотой молодежи.

По словамъ В. Д. Давыдова, Толстой въ 40-хъ годахъ жилъ общею всѣмъ молодымъ людямъ свѣтскою жизнью, влюблялся съ увлеченіемъ, волочился съ настойчивостью, плясалъ на балахъ, билъ на охотѣ медвѣдей и лосей,—словомъ, участвовалъ во всѣхъ развлеченіяхъ богатой праздной дворянской молодежи. Свѣтская жизнь, впрочемъ, несмотря на свою привлекательность и, такъ-сказать, узаконенность для людей извѣстнаго круга, не наполняла духовный міръ нашего поэта; онъ часто убѣгалъ отъ нея, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ, иногда съ товарищемъ, но обыкновенно—одинъ.

Внѣшность его въ значительной степени содѣйствовала его свѣтскимъ успѣхамъ. В. А. Инсарскій, хорошо извѣстный въ нашей литературѣ своими мемуарами изъ жизни нашихъ дворянъ-помѣщиковъ 40—50-хъ годовъ и встрѣчавшій нерѣдко у кн. Барятинскаго молодого поэта, описываетъ его наружность слѣдующимъ образомъ: «Графъ Толстой былъ красивый молодой человѣкъ съ бѣлокурыми волосами и румянцемъ во всю щеку». «Нѣжность и деликатность настолько проникали всю его фигуру, что онъ похожъ былъ на красную дѣвицу». Но въ то же время Толстой славился среди товарищей своей силой: онъ «свертывалъ въ трубку столовыя ложки и вилки, вгонялъ пальцемъ въ стѣну гвозди и разгибалъ подковы».

Однако, несмотря на веселую свѣтскую жизнь, Толстой въ 40-хъ годахъ принялся уже серьезно за литературный трудъ. Въ своей автобіографіи Толстой сообщаетъ, что онъ «съ шести лѣтъ маралъ бумагу и писалъ стихи, а затѣмъ въ теченіе многихъ лѣтъ продолжалъ упражняться и совершенствоваться въ версификаціи». Тѣмъ не менѣе, первымъ его опытомъ была повѣсть «Упырь», написанная прозой. Это фантастическій разсказъ въ стилѣ Гофмана, фантастико-романтическіе разсказы котораго имѣли тогда у насъ большой успѣхъ. Толстой выбираетъ, подражая своему дядѣ, псевдонимъ по его примѣру. Перовскій извѣстенъ въ литературѣ подъ именемъ Погорѣльскаго, такъ какъ свою фамилію онъ замѣнилъ названіемъ своего имѣнія «Погорѣльцы»; а Толстой, идя той же дорогой, назвался «Краснорогскимъ», въ честь своего любимаго имѣнія Красный-Рогъ.

«Упырь» благосклонно былъ принятъ критикой, а Бѣлинскій, со свойственною этому геніальному критику про-

ницательностью, указалъ на талантливость автора и сказалъ, что «отъ него можно въ будущемъ надѣяться многаго».

Въ это же время двоюродные братья Толстого А. М. Жемчужниковъ и Владимиръ Михайловичъ начали службу въ Петербургѣ. Алексѣй Михайловичъ въ 1841 г. поступилъ въ сенатъ, а Владимиръ былъ въ петербургскомъ университетѣ. Надо полагать, что юношескія шалости троихъ братьевъ, сдѣлавшихъ ихъ извѣстными всему Петербургу, положили основаніе мѣткой характеристикѣ и банальной философіи русскаго бюрократа, изданной впослѣдствіи подъ названіемъ «Сочиненій Кузьмы Пруткова».

Въ 1849 году мы находимъ Толстого въ Калугѣ; онъ былъ командированъ туда въ качествѣ чиновника при сенаторѣ кн. Давыдовѣ, которому было поручено ревизовать Калужскую губернію. Здѣсь онъ близко сошелся съ семьею мѣстнаго губернатора Смирнова; его жена Александра Іосифовна, урожденная Росетти, была женщина выдающагося ума и хорошо извѣстна въ нашей литературѣ по своимъ отношеніямъ къ Пушкину, Гоголю, Вяземскому и И. С. Аксакову. Толстому, повидимому, очень понравилось въ Калугѣ; онъ гостилъ въ имѣніи Смирновыхъ Бѣгичевѣ, охотился вмѣстѣ съ хозяиномъ, читалъ хозяйкѣ своей стихи и бесѣдовалъ съ ея друзьями. Зиму 1850 г. Толстой цѣликомъ провелъ въ Калугѣ, послѣ того какъ онъ съѣздилъ въ Почепъ провѣдать больного дядю, Василія Алексѣевича Перовскаго. Исполняя разныя порученія для кн. Давыдова, Толстой находилъ время заниматься литературой и много работалъ надъ «Княземъ Серебрянымъ». Въ 1850 г. онъ читалъ лицамъ избраннаго калужскаго общества первыя главы этого романа, а также рядъ своихъ стихотвореній, былинъ и даже планъ «Трилогіи».

Въ числѣ лицъ, гостившихъ у Смирновыхъ, былъ и Гоголь, который очень полюбилъ молодого поэта. Съ нимъ Толстой встрѣтился впервые въ концѣ 30-хъ годовъ, но только въ Калугѣ у Смирновой они познакомились и оцѣнили другъ-друга.

Такъ протекала молодость поэта. Жизнь улыбалась ему; фортуна, такъ же какъ и фатумъ, покровительствовали счастливцу; служба такъ же удавалась, какъ и литературная карьера; борьба за существованіе не портила характеръ и не искажала его душу; погоня за общественнымъ положеніемъ

не вырабатывала низкопоклонства, холопства и неискренности. Жизнь закрѣпощенной страны съ ея николаевскимъ режимомъ и безграничнымъ административнымъ произволомъ, казалось, не возмущала душевный покой поэта. Все предшествующее воспитаніе и общественное положеніе А. Толстого высокою стѣной отдѣляли его отъ «проклятыхъ вопросовъ».

Но проклятые вопросы русской дѣйствительности росли какъ комъ снѣга, стремящійся въ бездну. Государственное устройство Россіи влекло за собою полное гнилостное зараженіе всего организма, и страшная болѣзнь таилась только до поры до времени.

Грянула Крымская война, и болячки вскрылись. Началась безпримѣрная война героическаго народа, плохо вооруженнаго, предводительствуемаго невѣжественными и неспособными военачальниками, обворованнаго чиновниками и посланнаго въ безсмысленную бойню глупыми дипломатами и ослѣпленнымъ, самоувѣреннымъ правительствомъ.

Толстой въ годину несчастія не остался празднымъ наблюдателемъ гибели славной арміи и позора родины. Сначала онъ хотѣлъ навербовать и вооружить на свои средства отрядъ добровольцевъ. Это ему не удалось. Тогда онъ строитъ другой планъ: хочетъ купить корабль и вести каперскую войну противъ Англіи. Этотъ планъ также отличается практической несостоятельностью. Воображеніе поэта было плѣнено славными морскими разбойниками XVI вѣка, такъ удачно дѣйствовавшими во время войны Нидерландовъ съ Испаніей за освобожденіе. Онъ забылъ лишь, что международное право сильно измѣнило съ тѣхъ поръ взглядъ какъ на войну вообще, такъ и на каперство въ частности. Оно все болѣе и болѣе приходило къ выводу, что война ведется между государствами посредствомъ ихъ армій, а не между отдѣльными подданными враждующихъ державъ. Къ началу Крымской войны каперство совершенно уже уничтожилось между большинствомъ европейскихъ державъ, и правительства обязались не выдавать каперскихъ патентовъ.

Два неудачныхъ плана были замѣнены третьимъ, на сей разъ вполнѣ достижимымъ. А. Толстой бросаетъ гражданскую службу и вступаетъ въ ряды арміи съ чиномъ майора. То же дѣлаетъ сотоварищъ по перу и сотрудникъ по изданію сочиненій гипотетическаго Кузьмы Пруткова Владиміръ Жемчуж-

:ковъ. И тотъ и другой попадаютъ въ стрѣлковый полкъ ıператорской Фамиліи. Обстановка военной жизни и война страиваютъ лиру поэта на новый ладъ, и онъ пишетъ двѣ тріотическія пѣсни: «Слава» и «Чарочка». Пѣсни понрави:сь государю и были приняты на предметъ исполненія пѣльниками въ войскахъ.

Въ сентябрѣ 1855 г. беззаботный, избалованный и пре-пѣвающій поэтъ бросаетъ шумную столицу, свѣтскія раз-еченія и услады богатой жизни и выступаетъ съ полкомъ рокобой полуостровъ, гдѣ самодержавный, чиновничій, реформенный строй давалъ послѣднее неудачное сраженіе ропейской цивилизаціи.

Впрочемъ, полкъ Толстого оказался назначеннымъ не въ ымъ, а для защиты Одессы. Всѣмъ хорошо извѣстно сани-рное состояніе нашей арміи въ Крымскую войну. Въ эту йну въ сраженіяхъ мы потеряли менѣе ста тысячъ, а умер-ıхъ отъ ранъ и болѣзней болѣе четырехсотъ тысячъ. Войска всемъ терпѣли крайнюю нужду; «они не имѣли ни крова : теплой одежды и подвергались вредному дѣйствію непо-ды», пишетъ генералъ Дубровинъ. Очень понятно отсюда, чему въ полку А. Толстого развился тифъ и въ нѣсколько ѣсяцевъ скосилъ половину полка. Заразился тифомъ и поэтъ.) и на этотъ разъ судьба была милостива къ питомцу музъ. ѣсмотря на тяжелую форму болѣзни, крѣпкій организмъ спра-:лся съ нею и выздоровѣлъ. Правда, уходъ за Толстымъ былъ ıключительный, не потому, конечно, что начальство заботи-ıсь о сохраненіи жизни даровитаго человѣка, а потому, что го-'дарь интересовался ходомъ болѣзни, и командиръ полка дол-енъ былъ ежедневно доносить по телеграфу о состояніи ıльного.

За нѣсколько лѣтъ до начала Крымской войны гр. Толстой ѣтрѣтился въ петербургскомъ обществѣ съ женой полковника офьей Андреевной Миллеръ, урожденной Бахметьевой. По ому стихотворенію, которое было вызвано этой встрѣчей, мы ожемъ судить о впечатлѣніи, которое сдѣлала Софья Андре-зна на нашего поэта. Всѣ мы хорошо знаемъ эти граціозные, ıлные тихой грусти стихи, а несравненный талантъ Чайков-саго заставилъ ихъ звучать во всѣхъ концертныхъ залахъ вропы.

Средь шумнаго бала случайно,
Въ тревогѣ мірской суеты,

Тебя я увидѣлъ, но тайна
Твои покрывала черты...

Описавъ дивный голосъ, гибкій станъ, печальныя очи, поэтъ заканчиваетъ сомнѣвающимся тономъ, въ которомъ явно скрыто утвержденіе: «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мнѣ, что люблю»... Поэтъ не ошибся: съ первой, видимо, встрѣчи въ немъ вспыхнула любовь къ Софьѣ Андреевнѣ. Судя по письмамъ, которыя они писали другъ-другу въ 1852 и послѣдующіе годы, между ними установились отношенія, которыя должны были рано или поздно привести къ браку.

Когда поэтъ заболѣлъ тифомъ, Софья Андреевна, не справляясь со свѣтскими приличіями и опасностью заразы, бросаетъ Петербургъ и ѣдетъ въ городъ, надъ которымъ повисла страшная эпидемія. Здѣсь она самоотверженно ухаживаетъ за дорогимъ больнымъ. Когда болѣзнь Толстого минула и мы заключили позорный Парижскій договоръ о мирѣ, поэтъ, вмѣстѣ съ болѣвшимъ также тифомъ Владиміромъ Жемчужниковымъ, отправился для возстановленія силъ въ Крымъ. Съ нимъ вмѣстѣ поѣхала и Софья Андреевна.

На кого благотворно не дѣйствовалъ воздухъ, море, солнце и пейзажи Крыма? Кто подъ обаяніемъ этой дивной природы не становился въ душѣ поэтомъ? Неудивительно поэтому, что всѣ поэты, бывшіе въ Крыму, отдали стихотворную дань его «шумящему морю», его прозрачной дали, его волшебнымъ ночамъ... Мы знаемъ, какъ «Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной пѣвецъ Литвы въ размѣръ его стѣсненный свои мечты мгновенно заключалъ». Такъ же какъ Мицкевича, Крымъ вдохновилъ и А. Толстого. Крыму мы обязаны «Крымскими очерками». Въ нихъ съ поразительной картинностью Толстой рисуетъ картины южной природы.

Изъ Крыма черезъ Кіевъ А. Толстой съ Львомъ Жемчужниковымъ уѣхалъ къ матери въ Красный-Рогъ.

Конечно, поэтъ, кромѣ желанія вновь свидѣться съ горячо любимой матерью, имѣлъ въ виду сообщить ей о своихъ намѣреніяхъ въ отношеніи Софьи Андреевны.

Несмотря на радость свиданія послѣ долгой разлуки и миновавшей опасности, между Анной Алексѣевной и ея сыномъ произошли рѣзкія объясненія: «она не только не сочувствовала тѣмъ отношеніямъ, которыя установились между ея Алешей и Софьей Андреевной, но была прямо возмущена

[illegible] Толстой.

[illegible] Софьи Андреевны [illegible]

[illegible] Его глубока [illegible]

[illegible] ревнуетъ и предубѣждаетъ против[illegible]

[illegible] обвиняя ее въ [illegible]

[illegible] должно было перевернуть все [illegible]

[illegible] честнаго и рыцарски-благородн[illegible]

[illegible] Толстой»...

[illegible] графиня не соглашалась на [illegible]

[illegible] и голословныя обвиненія ее въ [illegible]

[illegible] заставляютъ предположить, что мы [illegible]

[illegible] чувствомъ матери, жаждущей [illegible]

[illegible] единственное дорогое и горячо-любимое [illegible]

[illegible] В. Мещерскій разсказываетъ въ своихъ [illegible]

[illegible]ніяхъ, что А. Толстой одно время сильно [illegible]

[illegible] и хотѣлъ было сдѣлать ей предложеніе, [illegible]

[illegible]евна сильно воспротивилась этому безъ [illegible]

[illegible]тельной причины. Сынъ тогда подчи[illegible]

[illegible]ся холостымъ, какъ мы видимъ, почти до [illegible]

[illegible] Андреевна была во второй разъ причиной [illegible]

[illegible]ъ отношеніи матримоніальныхъ плановъ [illegible]

[illegible]ъ разъ побѣда осталась за А. Толстымъ.

[illegible] Андреевна получаетъ разводъ отъ своего [illegible]

[illegible]ной гр. А. К. Толстого.

[illegible], что «бракъ—могила любви». Если бы [illegible]

[illegible] афоризма искать по брачной жизни [illegible]

[illegible]бно было бы признать это изреченіе [illegible]

[illegible] («Вѣстникъ Европы», 1899 г., № [illegible])

III.

Наступило царствованіе Александра II. Нечего говорить о томъ, что товарищъ дѣтства не былъ забытъ. Его при дворѣ ждали распростертыя объятія самого государя. Въ коронацію 26-го августа Толстой былъ назначенъ флигель-адъютантомъ. Реформаторскіе планы новаго государя требовали и новыхъ людей; кромѣ того, Толстой былъ приближенъ къ особѣ царя, а потому понятно, что на него возлагались административныя надежды. Поэтъ, помимо личныхъ усилій, превратился въ чиновника, исполняющаго различныя порученія и, наконецъ, попавшаго въ члены комиссіи о сектантахъ.

Всѣмъ хорошо извѣстно, что наша церковь, рука-объ-руку съ правительствомъ, жестоко преслѣдовала всѣхъ несогласно мыслящихъ съ ней по вопросамъ вѣры и ритуала. При этомъ законы не отдѣляли старообрядцевъ, крѣпко державшихся традицій древне-православной дониконовской Руси, отъ раціоналистовъ-сектантовъ, клавшихъ въ основу своего вѣроученія Евангеліе, а иногда Ветхій Завѣтъ. Законы карали и тѣхъ и другихъ строго, а иногда и жестоко. Мы имѣемъ цѣлые томы законодательныхъ постановленій, но всѣ они отличаются характеромъ случайнымъ. Это произошло потому, что законы издавались по поводу религіознаго движенія въ томъ или другомъ районѣ, а иногда касались отдѣльныхъ лицъ. Для приведенія въ порядокъ и изданія общихъ законовъ была основана комиссія. Работы ея привели къ закону о сектантахъ, по которому почти всѣ религіозныя секты признаны были особо вредными. Положеніе нашего поэта, сказавшаго устами Донъ-Жуана: «Святые братья глупы. Человѣкъ молиться воленъ, какъ ему угодно. Не влѣзешь силой въ совѣсть никому и никого не вгонишь въ рай дубиной», было среди членовъ комитета положеніемъ altera pars.

Представить себѣ положеніе нашего поэта въ роли чиновника нетрудно. Безъ спеціальной теоретической и практической подготовки, прямой, неспособный къ интригѣ, щепетильно-честный Толстой былъ какъ нельзя болѣе не на мѣстѣ въ роли вершителя судебъ. Реформы новаго государя намѣтили иной путь для жизни страны, но правительственные агенты николаевской школы остались на мѣстахъ. Привыкшіе

къ казнокрадству, взяточничеству и произволу, они не могли, конечно, вдругъ измѣнить свою природу, а отсюда понятно, почему новое вино реформъ попало въ старые мѣхи помпадуровъ. «Государь всѣмъ желаетъ добра, пишетъ А. Толстой въ одномъ изъ своихъ писемъ, но ему такъ дурно служатъ». Если Толстой раньше не бросилъ службу, то только потому, что этого не хотѣли его мать и старшіе родственники. Но среда чиновничьяго бездѣльничанья и нездоровая атмосфера чиновнаго міра были ему глубоко отвратительны. Въ одномъ изъ своихъ писемъ въ 1851 г. онъ говоритъ, что ему «противны люди, которые, подъ предлогомъ, что они служатъ, живутъ интригами, одна грязнѣе другой». Въ томъ же письмѣ онъ пишетъ: «Съ ранняго дѣтства я чувствовалъ влеченіе къ художеству и отвращеніе къ чиновничеству и капрализму».

1-го іюня 1857 г. умираетъ Анна Алексѣевна, а вмѣстѣ съ нею отпадаетъ единственная причина, заставлявшая А. Толстого принадлежать къ «право-правящимъ». Поэтъ пишетъ государю письмо, гдѣ выясняетъ мотивы, побуждающіе его подать прошеніе объ отставкѣ. «Я сознаю,—пишетъ государю Толстой,—что всякій, по мѣрѣ силъ, долженъ быть полезенъ своему отечеству, но есть разные способы быть полезнымъ. Способъ, указанный мнѣ Провидѣніемъ,—мое литературное дарованіе, и всякій другой путь для меня невозможенъ. Я всегда буду плохимъ администраторомъ, плохимъ чиновникомъ, но думаю, что безъ самообольщенія могу сказать, что я хорошій писатель».

Вся послѣдующая литературная дѣятельность Толстого подтвердила правоту его словъ. Но государь, видимо, не соглашался со взглядомъ поэта на его призваніе, и отставка была принята холодно. Впрочемъ, придворное званіе было оставлено, дабы не лишать государя общества его друга дѣтства. Толстой былъ назначенъ, какъ страстный охотникъ, егермейстеромъ. Завѣдываніе егерями царской охоты, видимо, не затрудняло нашего поэта, потому что онъ до гробовой доски оставался въ этомъ званіи.

Итакъ, нашъ поэтъ «на волѣ». Его не связываютъ офиціальныя обязанности, не угнетаетъ канцелярская обстановка, не отнимаетъ времени чиновничье творчество, онъ можетъ не тратить жизнь на разысканіе «корней и нитей» во ввѣренномъ ему стадѣ и положеніи онымъ въ его гражданскихъ стремле-

ніяхъ препонъ и административныхъ преградъ. Теперь для него

Звонче жаворонка пѣнье,
Ярче вешніе цвѣты,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разорвавъ тоски оковы,
Цѣпи пошлыя разбивъ,
Набѣгаетъ жизни новой
Торжествующій приливъ.

Неудовольствіе государя въ моментъ пріема отставки оказалось не мимолетнымъ. Считая его честнымъ, достойнымъ уваженія человѣкомъ, Александръ II охладѣлъ къ поэту. Зато потерявъ въ одномъ мѣстѣ, Толстой нашелъ въ другомъ. Государыня Марія Александровна, какъ извѣстно, была умная, образованная и прогрессивная женщина. Она принимала дѣятельное участіе въ вопросахъ женскаго образованія; при ней началось открытіе всесословныхъ и открытыхъ женскихъ гимназій, реформированъ затворническій строй институтовъ и т. д. Марія Александровна оцѣнила талантъ А. Толстого, а его живая, остроумная рѣчь сдѣлала общество нашего поэта всегда желательнымъ для государыни. Онъ часто и подолгу гостилъ у нея въ Ливадіи, на Швальбахскомъ курортѣ, въ Сорренто и зимней климатической станціи на берегу Генуэзскаго залива—Санъ-Ремо.

Говорятъ, государыня была не только большая любительница художественной литературы, но и остроумный тонкій цѣнитель. Вотъ почему Толстой всегда охотно читалъ ей всѣ свои новыя произведенія, даже и такія, которыя не имѣли ни малѣйшихъ шансовъ получить одобреніе цензуры. Иногда государыня приходила въ такой восторгъ отъ произведеній А. Толстого, что выражала желаніе не допустить цензуру до цивической казни твореній поэта.

А. Толстой также искренно цѣнилъ и уважалъ умъ и сердце своей высокой покровительницы, какъ она его талантъ.

«Какое удовольствіе, пишетъ Толстой, имѣть государыню своей слушательницей! Изъ всѣхъ слушателей, настоящихъ и прошедшихъ, я ей читаю съ наибольшимъ удовольствіемъ. Ничего отъ нея не ускользаетъ. Она все пони-

маетъ, все отгадываетъ, и ея подвижное лицо отражаетъ всѣ оттѣнки и подбодряетъ чтеца вноситъ выраженіе въ его чтеніе».

Выйдя въ отставку, гр. А. К. Толстой поселился въ деревнѣ и только временами заглядывалъ въ столицу. Ему достались отъ дяди два имѣнія: Пустынка, близъ Любани, и большое помѣстье Красный-Рогъ въ Мглинскомъ уѣздѣ, т.-е. въ сѣверномъ углу Малороссіи.

Пустынка имѣла ту прелесть, что она находилась вблизи Петербурга и давала возможность столичнымъ жителямъ воспользоваться на короткій срокъ гостепріимствомъ любезныхъ хозяевъ. По словамъ извѣстнаго цензора и автора дневника съ цѣнными воспоминаніями А. Никитенки, который гостилъ тамъ въ маѣ 1876 г., «барскій домъ былъ построенъ на берегу рѣки Тосны въ родѣ роскошнаго замка. Все въ домѣ было изящно, удобно и просто. Самая мѣстность усадьбы интересна. Ѣдешь къ ней по гнусному ингерманландскому болоту и вдругъ неожиданно натыкаешься на рѣку Тосну, окаймленную высокими и живописными берегами. На противоположномъ ея берегу стоитъ домъ, который, такимъ образомъ, представляетъ красивое и поэтическое убѣжище». Здѣсь гостили нерѣдко многіе изъ петербургскихъ литераторовъ и ученыхъ, Гончаровъ, Полонскій, Маркевичъ, Костомаровъ, Благовѣщенскій; здѣсь Каролина Павлова переводила «Трилогію», и сюда въ 1867 г. Толстой привезъ актера Васильева, чтобы онъ «вдали отъ шумнаго свѣта» могъ заняться изученіемъ роли Грознаго. Въ 1865 г. въ Пустынку пріѣзжали великіе князья Александръ Александровичъ, впослѣдствіи государь Александръ III, и Владиміръ Александровичъ. Болеславъ Маркевичъ, который имѣлъ репутацію прекраснаго декламатора, читалъ имъ только-что оконченную трагедію «Смерть Іоанна Грознаго».

Кромѣ государыни, у Толстого былъ еще одинъ дѣльный и тонкій критикъ, это его жена Софья Андреевна, какъ говорятъ, недюжинная женщина. Она принимала самое горячее участіе въ литературныхъ планахъ и работахъ своего мужа, а иногда даже собирала матеріалъ для его историческихъ произведеній. Жили они, что называется, душа-въ-душу, и графиня была для нашего поэта не только любящею женой, но и товарищемъ-другомъ, а зачастую даже помощникомъ и совѣтникомъ.

Своихъ дѣтей у нихъ не было, и графъ и графиня взяли на воспитаніе племянниковъ графини и привязались къ нимъ всей душой. Выдержка изъ одного изъ писемъ поэта достаточно ярко можетъ характеризовать его отношеніе къ воспитанникамъ:

«Дѣти чувствуютъ, что я ихъ люблю: какъ только я вхожу въ комнату, всѣ кричатъ и бросаются мнѣ на шею. Андрейка первый. Они всѣ на меня садятся и дергаютъ во всѣ стороны. Андрейка мнѣ разсказываетъ длинныя исторіи о звѣряхъ. Онъ видитъ во снѣ, что я ему привожу ихъ и что мы вмѣстѣ путешествуемъ по Америкѣ... Я обѣщалъ ему вскорѣ, что я его во снѣ поведу въ пальмовый лѣсъ, въ которомъ на всякомъ деревѣ будетъ сидѣть обезьяна и играть на скрипкѣ... и онъ ждетъ этого путешествія съ большимъ нетерпѣніемъ»... Необходимо добавить, что Андрейка, о которомъ идетъ рѣчь, былъ племянникомъ Софьи Андреевны. Когда онъ подросъ, то сдѣлался товарищемъ по охотѣ и партнеромъ по шахматной игрѣ А. Толстому.

Поселившись въ деревнѣ и привязавшись къ ней всею душой поэта-пейзажиста, Толстой не порывалъ связей съ городомъ. Во-первыхъ, какъ было сказано, онъ часто гостилъ у государыни въ Крыму, а потомъ ежегодно ѣздилъ за границу. За границей Толстой не велъ жизни записного туриста, наблюдающаго жизнь страны изъ окна вагона желѣзной дороги и осматривая тѣ достопримѣчательности, которыя рекомендуетъ Бедекеръ. Толстой заводилъ знакомства съ выдающимися людьми Европы, а съ нѣкоторыми изъ нихъ даже завязывалъ близкія отношенія. Любя Римъ и его искусство, Толстой познакомился съ выдающимся знатокомъ Италіи и однимъ изъ самыхъ основательныхъ историковъ Рима во времена папства и среднихъ вѣковъ, т.-е. съ Фердинандомъ Грегоровіусомъ. Познакомиться съ Грегоровіусомъ, значитъ, познакомиться и съ его пріятелями Сабатье и Гильдебрантомъ. Въ концѣ 60-хъ годовъ Толстой вновь посѣтилъ Веймаръ. Великій поэтъ уже спалъ могильнымъ сномъ; отошелъ также въ лучшій міръ и покровитель литературы и искусства великій герцогъ Карлъ-Августъ.

Великій герцогъ Карлъ-Александръ радушно, чисто породственному встрѣтилъ нашего поэта. Ихъ соединяли воспоминанія прошлаго далекаго дѣтства, когда веймарскій дворцовый паркъ оглашался ихъ дѣтскими голосами.

Великій герцогъ пожелалъ по достоинству почтить своего друга. Онъ приказалъ поставить у себя на сценѣ «Смерть Іоанна Грознаго». Переводъ былъ сдѣланъ г-жей Павловой, и въ 1868 г. нѣмецкая публика ознакомилась съ однимъ изъ произведеній русскаго поэта.

Въ это время въ Веймарнѣ жила княгиня Витгенштейнъ. Между Толстымъ и этой интересной женщиной установились самыя теплыя отношенія, а черезъ княгиню и со знаменитымъ Францемъ Листомъ. Родоначальнику нѣмецкой живописной программной музыки чрезвычайно нравились стихи Толстого, съ которыми онъ знакомился въ переводѣ Павловой. Баллада «Слѣпой» такъ заинтересовала знаменитаго піаниста, что онъ написалъ на нее музыку. Листъ, съ его сравнительно бѣдною мелодическою изобрѣтательностью, былъ неподражаемъ въ области фантазіи, музыкальнаго колорита, настроенія и, вообще, всего того, что нужно для внѣшней стороны композиціи. Такимъ образомъ, въ балладѣ «Слѣпой» сошлись два крупныхъ и почти однородныхъ таланта.

IV.

Часто бросая деревню для города или заграничныхъ путешествій, Толстой и среди мирныхъ утѣхъ Краснаго-Рога не прерывалъ сношеній со своими друзьями. Наши литературные лагери всегда были на положеніи военнаго времени. Государственная и общественная жизнь страны была такова, что требовала отъ всѣхъ наличныхъ интеллигентныхъ силъ одного и того же: оппозиціоннаго настроенія. Всецѣло отдаться искусству было невозможно. Политика властно ворвалась, во имя интересовъ народа, въ станъ жрецовъ Аполлона и раздѣлила ихъ на враждующія партіи. Славянская натура, и безъ того не особенно склонная къ согласованности и уступчивости, въ лицѣ «внутренней политики» получила новую пищу для раздоровъ, разногласій, пререканій и конфликтовъ.

Толстой не принадлежалъ ни къ одной изъ литературныхъ партій и не участвовалъ въ журнальной работѣ. Среди литераторовъ онъ нашелъ людей родственныхъ ему по взглядамъ на задачи искусства и очень дорожилъ отношеніями къ этимъ лицамъ.

Конечно, близкими людьми поэта были тѣ писатели, которыхъ можно было считать художниками по преимуществу, людьми, ставившими на первый планъ красоту, какъ основу всякаго искусства. Въ числѣ друзей нашего поэта мы встрѣчаемъ, напримѣръ, Гончарова — художника съ головы до ногъ, чуждаго вопросамъ общественности, спокойнаго, уравновѣшеннаго, большого мастера по части пластическаго изображенія; поэта Я. П. Полонскаго, изъ школы чистаго искусства создавшаго истинные перлы лирики.

Но истиннымъ наперсникомъ и близкимъ Толстому человѣкомъ былъ романистъ Б. М. Маркевичъ. Трудно психологически объяснить эту пріязнь нашего поэта къ пустому, тщеславному, холопствующему передъ аристократами романисту. Почему Толстой этого фальшиваго романиста, вѣчно рисовавшаго аристократическіе салоны и необыкновенно благородныхъ дѣвицъ, дамъ, графовъ и дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, считалъ тонкимъ цѣнителемъ своихъ произведеній — трудно объяснить. Впрочемъ, въ вопросахъ политики нашъ поэтъ сильно расходился съ духовнымъ питомцемъ Каткова. Правда, красавецъ романистъ, видимо, искренно любилъ Толстого и мастерски читалъ въ столичныхъ салонахъ его стихи, благодаря чему проникъ въ интимный кружокъ государыни, и, кромѣ того, онъ благоговѣлъ такъ же, какъ и Толстой, передъ Пушкинымъ и увлекался Шиллеромъ. Маркевичъ часто и подолгу гостилъ у Толстого въ Красномъ-Рогѣ, а одна изъ его повѣстей, имѣвшихъ тогда въ обществѣ такой успѣхъ, «Марина изъ Алаго-Рога», описываетъ семью Толстыхъ. Говорятъ, что пейзажъ Краснаго-Рога, а также въ главныхъ чертахъ Толстой (въ повѣсти Завальскій) и графиня изображены Маркевичемъ. Собственно, какъ романистъ, аМркевичъ не лишенъ таланта.

Къ мнѣнію Гончарова Толстой часто и внимательно прислушивался и очень дорожилъ его похвалой.

Очень усиленно Толстой поддерживалъ переписку съ своей веймарнской знакомой, княгиней Витгенштейнъ. Если вы просмотрите ея письма къ поэту, то согласитесь, что другъ Листа и извѣстный изслѣдователь Африки Гергардъ Ролфсъ былъ вполнѣ правъ, когда говорилъ, что самая интересная въ интеллектуальномъ смыслѣ, самая умная и

самая остроумная женщина, которую онъ когда-либо встрѣчалъ, была княгиня. Княгиня жила въ Римѣ, и въ ея небольшой квартирѣ всегда толпились лучшіе представители художественнаго и ученаго міра, пріѣзжавшіе въ вѣчный городъ изъ всѣхъ странъ.

Этотъ небольшой интимный кружокъ близкихъ Толстому лицъ своимъ доброжелательнымъ, теплымъ участіемъ и отношеніемъ къ работѣ поэта поддерживалъ его на трудномъ, тернистомъ пути русскаго писателя, а въ особенности такого писателя, на голову котораго изо-дня-въ-день сыпалась неистощимая критическая брань изъ различныхъ лагерей и журналовъ. Прямолинейно чистая натура Толстого, имѣвшаго гражданское мужество мыслить и чувствовать по-своему, а не итти за господствующимъ теченіемъ, поставила его въ положеніе отщепенца, и дѣйствительно—его или замалчивали или ругали. Зола въ одной изъ своихъ публицистическихъ статей говоритъ, что начинающему писателю необходимо каждое утро проглатывать живую жабу, чтобы пріучить себя, такимъ образомъ, къ будущимъ рецензіямъ своихъ критиковъ. Писателя, не подготовившаго себя такимъ путемъ, ждутъ ежедневныя страданія. Толстой не могъ прочесть этого совѣта французскаго собрата по перу и потому въ теченіе своей литературной дѣятельности не могъ хладнокровно относиться къ терніямъ и скорпіонамъ, обильно преподносимымъ ему изъ либеральнаго и консервативнаго лагерей.

Цензоръ Никитенко, стоявшій въ сторонѣ отъ литературныхъ распрей и ошибокъ бойкихъ и тупыхъ, талантливыхъ и просто злобныхъ перьевъ, пишетъ въ своемъ дневникѣ: «Нынѣшніе крайніе либералы, со своимъ повальнымъ отрицаніемъ и деспотизмомъ, просто страшны. Они, въ сущности, тѣ же деспоты, только навыворотъ. Въ нихъ тотъ же эгоизмъ и та же нетерпимость, какъ и въ ультраконсерваторахъ... Они не допускаютъ свободу мнѣній».

Понятно, почему Толстой съ его общественною программой и взглядомъ на искусство очутился въ положеніи того бѣднаго Макара, на котораго сыпались и реакціонныя и либеральныя шишки. Подъ вліяніемъ ежедневныхъ воздѣйствій своихъ цѣнителей и судей, у Толстого образовалось желчное настроеніе. Онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ, что сталъ «посмѣшищемъ критики». Однако, быть

пассивнымъ страдальцемъ онъ не могъ и въ отвѣтъ на жестокія нападки писарствующихъ радикаловъ и закоренѣлыхъ разрушителей эстетики написалъ свои полемическія вещи: «Потокъ-Богатырь», «Порой веселой мая» и «Противъ теченія». Всѣ эти три стихотворенія Толстой послалъ въ «Русскій Вѣстникъ» Каткова.

Разумѣется, что содержаніе стихотвореній и мѣсто ихъ напечатанія вызвали цѣлую бурю въ либеральномъ лагерѣ. Полемическіе пріемы Толстого и мнѣніе поэта, слишкомъ, правда, односторонне рисовавшаго символъ вѣры своихъ соперниковъ, утвердили ихъ во мнѣніи, что въ лицѣ Толстого просвѣщеніе и всяческій прогрессъ имѣютъ убѣжденнаго врага. Они не пожелали принять сатирическихъ стрѣлъ поэта на счетъ тѣхъ «вислоухихъ» и юродствующихъ, которые слѣпо, чисто по-бараньи, примкнули, или, какъ выражается Щедринъ, «прикомандировали себя» къ либеральному дѣлу.

«Гр. А. Толстой—пишетъ одинъ изъ критиковъ—врагъ просвѣщенія, поклонникъ и проповѣдникъ беззавѣтнаго холопства, а какъ поэтъ—посредственно даровитый дилетантъ, вымучивающій риѳмованныя строки и склонный ради баловства сочинять безсмысленныя баллады».

Въ препирательствахъ со своими критиками бросается въ глаза разница въ пріемахъ и тонѣ той и другой стороны. Поэтъ все время шутитъ надъ своими врагами, а его критики съ пѣной у рта набрасываются на отважнаго пловца, готоваго плыть противъ теченія. Въ то время, какъ у Толстого остроуміе зачастую сплетается съ добродушіемъ, у его литературныхъ враговъ статьи переполнены каннибализмомъ и рѣзкостями, граничащими съ неприличіемъ. Такъ, напримѣръ, въ разгарѣ полемики съ «нигилистами» Толстой пишетъ въ письмѣ къ кн. Цертелеву:

Боюсь людей передовыхъ,
Страшуся милыхъ нигилистовъ,
Ихъ судъ правдивъ, ихъ натискъ лихъ,
Ихъ гнѣвъ губительно неистовъ.
Но все жъ подчасъ бываетъ мнѣ
Пріятно, въ званьѣ ретрограда,
Когда ихъ хлещетъ по спинѣ
Моя былина иль баллада.

[illegible] не старались [illegible]

[illegible] и., кто прямо, [illegible]

[illegible] долго, какъ этотъ [illegible]

[illegible] сказать, что оно расходит[illegible]

[illegible] чесывчинить [illegible]

[illegible] эфіи улучшить удобную [illegible]

[illegible] сосланнаго Чернышевскаго. И [illegible]

[illegible] собственнику, вникшему въ литературн[illegible]

[illegible] выраженія судебной описки, допущенной [illegible]

[illegible] мести и низкопоклонного [illegible]

[illegible] нашему. Толстой смѣло защищает[illegible]

[illegible] имѣющаго мужество сказать свободно [illegible]

[illegible] съ указами офиціальной прессы, [illegible]

[illegible] ческій благонадежности.

[illegible]5 г. Толстой былъ приглашенъ на [illegible]

[illegible] городской губерніи. Случай и распоряд[illegible]

[illegible]ора помѣстили нашего поэта и государя [illegible]

[illegible]отать время ожиданія, пока собаки и [illegible]

[illegible] медвѣдя, государь сталъ тихо, съ глазами [illegible]

[illegible]о своимъ давнишнимъ другомъ. Конечно, [illegible]

[illegible] коснуться литературы. Государь спро[illegible]

[illegible]го церемоніймейстера, не написалъ ли онъ [illegible]

[illegible]атура надѣла трауръ по поводу несчаст[illegible]

[illegible] Чернышевскаго!» смѣло отвѣчалъ Тол[illegible]

[illegible]ударь не далъ договорить фразы и пр[illegible]

[illegible]агороднаго поэта: «Прошу тебя, Толстой, [illegible]

[illegible]поминать о Чернышевскомъ».

[illegible]кончилась, вѣроятно, первая и единствен[illegible]

[illegible]ниясь двора сказать въ лицо государю [illegible]

[illegible], что думала лучшая передовая часть [illegible]

[illegible]ись какъ нельзя болѣе рельефно [illegible]

[illegible]чество натуры А. Толстого — правдив[illegible]

[illegible]ородство.

Какъ бы ни опредѣлять художественную и общественную цѣнность поэзіи Толстого, но при внимательномъ знакомствѣ съ его личною жизнью нельзя не оцѣнить высоко его нравственныхъ качествъ. А это обстоятельство имѣетъ не одинъ только біографическій интересъ. Еще Гете сказалъ, что

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... [1])

Прирожденное доброжелательство Толстого сказывалось, между прочимъ, въ томъ, что онъ часто хлопоталъ и выручалъ своихъ знакомыхъ изъ различныхъ непріятныхъ положеній.

Такъ, напримѣръ, извѣстная уже намъ писательница Каролина Павлова, по примѣру большинства русскихъ писателей, сильно нуждалась въ деньгахъ. Толстой пускаетъ въ ходъ свои связи и положеніе при дворѣ и добивается для Павловой пенсіи отъ государя и покровительницы искусства и его представителей великой княгини Елены Павловны. Пришлось также Толстому выручать изъ бѣды нашего знаменитаго художника И. С. Тургенева. Послѣ смерти Гоголя нашъ знаменитый романистъ назвалъ его въ некрологѣ «великимъ». При томъ взглядѣ на литературу, который былъ свойственъ николаевскому правительству, полагавшему, что на признательность исторіи имѣютъ право только лица, осѣненныя генеральскимъ чиномъ и отмѣченныя перстомъ сверху, некрологъ Гоголя былъ дерзкимъ посягательствомъ на неотъемлемую правительственную регалію. Кромѣ того, Тургеневъ, вообще, былъ у начальства на дурномъ счету, во-первыхъ, какъ литераторъ, а во-вторыхъ, какъ авторъ «Записокъ охотника», въ которыхъ довольно ощутительно припахивала и сквозила освободительная тенденція; Тургеневъ же велъ вдобавокъ знакомство съ Бѣлинскимъ, ѣздилъ за границу, словомъ—занимался дѣлами, предосудительными для русскаго дворянина.

Всесильный шефъ жандармовъ Дубельтъ посадилъ автора гимна въ честь знаменитаго умершаго писателя въ кутузку. Толстой былъ возмущенъ такою грубой и открыто-циничной расправой съ виднымъ представителемъ русской

[1]) Добрый человѣкъ и въ неясномъ своемъ стремленіи всегда имѣетъ сознаніе прямого пути.

литературы и сталъ хлопотать за Тургенева. Просидѣвъ три недѣли въ части, Тургеневъ былъ сосланъ въ деревню, но Толстой добился его освобожденія и возврата въ столицу. Вскорѣ Толстой снова долженъ былъ пускать въ ходъ свои связи. На этотъ разъ приходилось выручать знаменитаго славянофила Ив. Серг. Аксакова, котораго хотѣли заставить прокатиться на собакахъ и оленяхъ въ край, куда еще не ступало ни одно копыто телятъ, гоняемыхъ пресловутымъ Макаромъ. Какъ извѣстно, Иванъ Сергѣевичъ былъ сторонникомъ православія, самодержавія и народности, т.-е., казалось бы, публицистомъ вполнѣ благонадежнымъ. Но дѣло въ томъ, что бюрократическое правительство прикрывалось церковью, государствомъ, абсолютизмомъ государя и народностью; въ дѣйствительности, оно преслѣдовало исключительно свои личные, своекорыстные интересы. Церковь должна была проповѣдывать то, что выгодно кучкѣ сановниковъ; государь являлся точно такъ же простымъ орудіемъ, которымъ бюрократія владѣла хитро и ловко, то прячась за спину короны, то выступая какъ исполнительница «непреклонной» воли монарха. Въ этомъ же направленіи работала и консервативная печать, во главѣ съ Катковымъ. Честная натура Аксакова не выносила двуличія и лжи. «Что видимъ мы... хоть въ нашей литературѣ?—пишетъ знаменитый публицистъ, подмигивая многоточіемъ въ сторону недоступныхъ открытому уязвленію различныхъ «персонъ».—Какія теоріи? Съ одной стороны пустое, голое отрицаніе, волненіе безъ содержанія и безъ цѣли, какой-то призракъ жизни и движенія,—а въ сущности, нѣтъ ни жизни ни движенія, все полумертво и гнило и заимствуетъ силу только отъ силы враждебнаго напора; съ другой—грубая, тупая, безсмысленная сила, только въ насиліи и бездушномъ механизмѣ полагающая спасеніе! Съ одной стороны—ложь разрушенія, съ другой—ложь созиданія; съ одной стороны—невѣріе, поклоняющееся, какъ богамъ, людскимъ, временнымъ кумирамъ; съ другой—мнимая вѣра, поклоняющаяся и Богу, какъ кумиру, и силою Божьяго имени служащая своимъ корыстнымъ цѣлямъ и выгодамъ!»

Таковъ былъ И. С. Аксаковъ. Въ 1859 г. ему разрѣшили издавать газету «Парусъ», полагая, что онъ будетъ плыть согласно офиціальному вѣтру. Оказалось, что Аксаковъ понималъ разницу между принципомъ «чего изво-

лите?» и личными безкорыстными побужденіями. «Парусъ» на второмъ нумерѣ прекратилъ свое существованіе, а рулевого было рѣшено сослать въ тотъ городъ, который посѣтили въ свое время Герценъ и Щедринъ, т.-е. въ Вятку. Толстой пустилъ въ ходъ все свое вліяніе и знакомства. Дѣло увѣнчалось половиннымъ успѣхомъ: журналъ отошелъ въ міръ литературныхъ тѣней, а издатель, до поры до времени, оставленъ въ предѣлахъ русской цивилизаціи. Толстому, говорятъ, эта исторія стоила утраты расположенія Александра II.

Здѣсь опять Толстой вступился за попранныя права свободы слова, ибо никогда не принадлежалъ къ лику славянофиловъ, хотя они усиленно манили талантливаго поэта въ свой станъ. Сходясь съ А. С. Хомяковымъ, Черкасскимъ, Самаринымъ и И. С. Аксаковымъ въ религіозныхъ воззрѣніяхъ и любви къ родинѣ, онъ шелъ безостановочно по пути свободы. Онъ не допускалъ также угнетенія русскаго народа петербургскимъ правительствомъ, какъ и угнетенія, подъ предлогомъ руссификаціи, русскимъ элементомъ народностей, находящихся подъ властью Россіи.

Правда, онъ былъ убѣжденнымъ монархистомъ, что въ глазахъ всякаго русскаго просвѣщеннаго человѣка связывалось съ представленіемъ объ угнетеніи, охранномъ отдѣленіи, разстрѣляніи, административномъ разселеніи по холоднымъ, угрюмымъ окраинамъ и другихъ формахъ дѣйствія государственной власти.

Какъ мы уже говорили, политическіе идеалы Толстого были нѣсколько сбивчивы и не продуманы до конца. Онъ, очевидно, представлялъ себѣ наиболѣе совершеннымъ тотъ политическій строй, который рекомендовали славянофилы: правительству—сила власти, народу—сила мнѣнія. Будучи миролюбивою, идиллической натурой, Толстой инстинктивно отталкивалъ отъ себя мысль о борьбѣ, своекорыстіи правящихъ классовъ и сладости безграничной власти. Онъ хотѣлъ бы видѣть гармонію интересовъ: царь вмѣстѣ съ народомъ живутъ душа-въ-душу. Народные выборные стоятъ у подножія трона съ правомъ совѣщательнаго голоса. Царь внимательно выслушиваетъ ихъ мудрые совѣты и черезъ своихъ слугъ выполняетъ желанія старѣйшинъ на благо народа и династіи.

V.

Судя по богатырской фигурѣ А. Толстого, ему былъ предназначенъ маѳусаиловъ-вѣкъ, но онъ, видимо, не всегда считалъ нужнымъ соблюдать равновѣсіе въ приходахъ и расходахъ жизненныхъ средствъ своего организма. Въ результатѣ, даровитый поэтъ лишилъ насъ своихъ пѣсенъ раньше, чѣмъ это считается естественнымъ.

Уже въ 50-хъ годахъ Толстой сталъ жаловаться на боль въ ногѣ. Надо полагать, что врачи не установили по этому сбивчивому симптому истинную природу болѣзни. Боли въ ногахъ такого характера, какой наблюдался у Толстого, появляются какъ предвѣстники или сѣдалищной невралгіи или болѣе серьезной болѣзни—сухотки спинного мозга. Въ 1863 г. мы видимъ Толстого на знаменитыхъ водахъ Карлсбада, на которыхъ, какъ извѣстно, получили облегченіе большинство изъ тѣхъ людей, которыхъ исторія занесла на свои страницы. Гете, начавшій лѣчиться въ Карлсбадѣ въ 1758 г., возвращался къ его источникамъ тринадцать разъ и неоднократно заявлялъ, что онъ «совершенно переродился благодаря этому источнику».

При сухоткѣ спинного мозга у больныхъ часто наблюдаются желудочные кризисы, выражающіеся сильнѣйшими болями въ желудкѣ, тошнотой и рвотами. Врачи очень часто принимаютъ это за тяжелыя пораженія желудка. Видимо, врачи, пользовавшіе Толстого, тоже впали въ это же ложное толкованіе страданій своего паціента и отправили его на воды, употребляющіяся при болѣзняхъ желудка и кишекъ.

Въ Карлсбадѣ Толстой лѣчился у извѣстнаго тогда профессора Зеегена. Насколько мнѣ извѣстно, Іосифъ Зеегенъ былъ хорошимъ, по тому времени, бальнеологомъ и работалъ надъ вопросами сахарнаго изнуренія (діабетъ), а потому врядъ ли могъ поправить ошибку діагноза своихъ коллегъ, пославшихъ на знаменитый курортъ нашего поэта.

Кромѣ того, Толстой началъ страдать припадками удушья, что и до сихъ поръ даетъ поводъ біографамъ Толстого утверждать, что онъ болѣлъ астмой. Это, надо полагать, тоже слѣдуетъ отнести къ слабому развитію медицинской науки того времени. У страдающихъ табесомъ, т.-е. сухоткой спинного мозга, часто наблюдаются приступы су-

дорожнаго кашля и тяжелой одышки. Эти страданія сплошь и рядомъ даютъ полную картину грудной жабы. Къ этому прибавились боли въ области сердца, что тоже является типичнымъ признакомъ табеса.

Теперь медицина сравнительно успѣшно справляется съ этой болѣзнью, но во времена Толстого она была въ этихъ случаяхъ безсильна. Къ несчастью для русской литературы и больного, табесъ принялъ у него тяжелыя формы. По его собственнымъ словамъ, физическія и духовныя силы быстро падали, и уже въ 1874—75 гг. литературныя занятія были для больного Толстого почти невозможны. Иногда наступали свѣтлыя минуты облегченія, и онъ хватался за перо. Къ этому періоду относятся, напримѣръ, баллады: «Илья Муромецъ», «Сватовство», «Алеша Поповичъ», «Садко», «Канутъ», а также «Портретъ», «Драконъ» и неоконченная драма «Посадникъ». Этою послѣдней пьесой гр. Алексѣй Константиновичъ очень интересовался. Ея сюжетъ не историческій, а взятъ изъ нравовъ Новгорода эпохи XIII вѣка; создавъ по источникамъ историческій фонъ, авторъ надѣялся достичь большой свободы творчества и написать драму по всѣмъ правиламъ искусства, съ градаціей сценическихъ эффектовъ. Канву этой драмы гр. Толстой формулировалъ въ двухъ словахъ: «благородный человѣкъ по какой-либо причинѣ беретъ на себя кажущуюся подлость». Такимъ лицомъ является у него посадникъ Глѣбъ, который ради спасенія города принимаетъ на себя отвѣтственность за неосторожность воеводы Чермнаго. Къ сожалѣнію, драма доведена была только до 3-го акта и осталась неоконченною. Лишь послѣ смерти автора она появилась на сценѣ.

Какъ ни велики были страданія больного, но никто не ожидалъ быстрой его кончины. Весной 1875 г. онъ уѣхалъ въ Италію, гдѣ находится зимняя климатическая станція Санъ-Ремо; здѣсь проживала государыня. Такимъ образомъ, Толстой попалъ случайно въ тѣ условія, которыя рекомендуются въ качествѣ психическаго и физическаго средства при его болѣзни: югъ, морской берегъ, душевное спокойствіе. Оттуда онъ писалъ домой, что онъ «много лѣтъ не чувствовалъ себя такъ хорошо, такимъ свѣжимъ, такимъ бодрымъ». Лѣтомъ онъ переѣхалъ въ Карлсбадъ. Тамъ, въ августѣ мѣсяцѣ, его навѣстили И. С. Тургеневъ и М. М. Стасюлевичъ и нашли его удивительно бодрымъ и веселымъ.

По его же иниціативѣ, въ пользу погорѣльцевъ гор. Морпанска былъ устроенъ литературный вечеръ, въ которомъ Тургеневъ принялъ участіе. Самъ Толстой съ большимъ успѣхомъ читалъ свою поэму «Грѣшница».

Между тѣмъ, здоровье его было очень плохо. Профессоръ Зеегенъ впослѣдствіи говорилъ знакомымъ, что, прощаясь, въ этомъ году съ гр. Алексѣемъ Константиновичемъ, онъ былъ увѣренъ, что его больше не увидитъ. Покончивъ курсъ лѣченія въ Карлсбадѣ, гр. Толстой торопился къ себѣ въ Красный-Рогъ, гдѣ его ждала жена и куда онъ пригласилъ близкихъ своихъ друзей, Маркевича и кн. Цертелева. Этотъ послѣдній и описалъ намъ послѣднія минуты умирающаго поэта.

По его словамъ, мысль о смерти не пугала гр. Толстого, а возбуждала въ немъ только тихую грусть. За нѣсколько дней до кончины, въ садъ залетѣлъ глухарь. «Это моя птица,—замѣтилъ больной,—это за мной». Онъ, видимо, совершенно спокойно относился къ чувствуемому переходу въ лучшій міръ, не ощущая страха передъ моментомъ смерти, ни сожалѣнія передъ разлукой съ жизнью. Напримѣръ, однажды больной, указывая на дверь, которая вела въ уборную, а изъ уборной на балконъ, но была заперта, замѣтилъ: «Я думаю, вамъ придется отпереть эту дверь, коридоръ слишкомъ узокъ». Въ послѣдніе дни жизни Толстой сталъ галлюцинировать. Но, несмотря на серьезность положенія, никто, въ томъ числѣ и врачи, не ожидали близкой смерти. Они даже совѣтовали везти его за границу, и докторъ В., согласившійся сопровождать туда больного, за какія-нибудь сутки до его смерти уѣхалъ въ Почепъ за своимъ багажомъ.

Какъ это часто бываетъ, больной, за нѣсколько часовъ до полной ликвидаціи, почувствовалъ себя настолько хорошо, что окружавшее его общество собралось на прогулку въ лѣсъ. Лошади были поданы, и кн. Цертелевъ зашелъ къ больному. Онъ увидѣлъ Толстого дремлющимъ въ креслѣ. Однако, дремота своей продолжительностью показалась подозрительною. Послали за графиней. Убѣдившись, что это не сонъ, а глубокій обморокъ, стали дѣлать искусственное дыханіе. Сознаніе, однако, не возвращалось; на одну минуту больной открылъ глаза и снова впалъ въ забытье. Къ вечеру его не стало. 25-е сентября 1875 г. было послѣднимъ днемъ жизни А. Толстого. Онъ умеръ на 58 году отъ рожденія.

Такъ жилъ и работалъ одинъ изъ яркихъ представителей нашей литературы 40-хъ годовъ.

Можно по-разному оцѣнивать его общественное значеніе, но нельзя отказать этому честному, благородному и талантливому писателю въ полномъ уваженіи.

Если А. Толстой не примкнулъ къ лѣвымъ, не сталъ на сторону оппозиціоннаго демократизма и революціоннаго романтизма, то нельзя и считать его сторонникомъ офиціальнаго либерализма, апологетомъ самовластія и произвола. Его свобода не была свободой высочайше пожалованною. Мы не говоримъ уже о крайнихъ правыхъ и, вообще, реставраторахъ дореформенной крѣпостнической Руси. Врагъ радикальнаго утопизма, Толстой не былъ также и другомъ черносотенныхъ вожделѣній.

Можетъ-быть, его общественныя убѣжденія страдали идеализаціей, тѣмъ, что носитъ кличку романтизма, можетъ-быть, они были практически несостоятельны, но, во-первыхъ, политическая платформа—не дѣло поэзіи, а во-вторыхъ, взглядамъ Толстого нельзя отказать въ благородствѣ, безкорыстной любви къ родинѣ и необыкновенной искренности.

Любя больше всего искусство, А. Толстой никогда не понималъ подъ этимъ исключительную любовь только къ формѣ. Его произведенія, помимо своей изящной оболочки, имѣютъ тотъ ароматъ, колоритъ и вкусъ, которые даются поэту только тогда, когда произведеніе заключаетъ въ себѣ идею, образъ или чувство.

Въ произведеніяхъ А. Толстого бьется живое, горячее сердце, и это предохраняетъ его произведенія отъ вырожденія въ тотъ видъ поэзіи, который проповѣдуетъ теорію искусства для искусства.

Н. Денисюкъ.

А. К. Толстой *).

Школа поэтовъ чистаго искусства. Характеристика произведеній А. К. Толстого.

Между тѣмъ какъ поэзія, созданная эпохой сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, отражала горе народное или выражала хандру и покаянія дворянскія,—писатели завѣщали намъ особенную школу поэтовъ чистаго искусства, имѣющую въ своихъ рядахъ нѣсколько недюжинныхъ талантовъ, но, къ сожалѣнію, представлявшую собою пустоцвѣтъ. Поэты этой школы считали себя прямыми послѣдователями Пушкина, претендовали на то, что они одни только являются вѣрными хранителями пушкинскихъ традицій. Но въ этомъ они жестоко ошибались. Пушкинъ хотя и завѣщалъ имъ въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи «Подите прочь, какое дѣло» заповѣдь чистаго искусства, но самъ въ своей поэзіи былъ поэтомъ, черпавшимъ свои прекрасные образы непосредственно изъ жизни. Поэты же сороковыхъ годовъ, понявъ въ буквальномъ смыслѣ, что они рождены «не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ, а для

---

*) Эта статья принадлежитъ перу извѣстнаго критика А. М. Скабичевскаго. Напечатана она въ его „Исторіи новѣйшей литературы".

Наша литературная критика создана Бѣлинскимъ. Не отрицая необходимости идеи во всякомъ художественномъ произведеніи, Бѣлинскій придавалъ большое значеніе и формѣ. Красота въ искусствѣ была для него существеннымъ элементомъ. Второй періодъ русской критики начинаетъ собою Добролюбовъ. Онъ придаетъ значеніе, по преимуществу, обще твенной идеѣ. Добролюбовъ требуетъ отъ всякаго художественнаго произведенія протеста противъ язвъ общественной жизни нашего отечества. Къ его школѣ принадлежитъ и г. Скабичевскій. А. М. Скабичевскій склоненъ стать на сторону тенденціозныхъ произведеній. Вотъ почему А. Толстой, какъ художникъ по преимуществу, вызываетъ со стороны нашего критика отрицательное отношеніе къ своимъ произведеніямъ. *Н. Денисюкъ.*

вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ», замкнулись въ эстетическія созерцанія прекрасныхъ образовъ классическаго искусства древнѣйшихъ и новѣйшихъ временъ, при чемъ изолировались не отъ однѣхъ только злобъ дня и такъ-называемыхъ «гражданскихъ мотивовъ», но и отъ жизни вообще, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Путемъ замкнутости въ эстетическихъ созерцаніяхъ они создали поэзію отвлеченную, кабинетную, искусственно-галантерейную, изысканно-риторичную. Главный недостатокъ этой поэзіи заключается въ ея безличности, отсутствіи такихъ красокъ, колорита, звуковъ, мотивовъ, въ которыхъ выражался бы букетъ русской народности и жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, поэты этой школы страдаютъ отсутствіемъ индивидуальности: все различіе ихъ одного отъ другого заключается лишь въ томъ, что одни эпичнѣе и объективнѣе, другіе—субъективнѣе и лиричнѣе, третьи имѣютъ пристрастіе къ изображеніямъ изъ древне-классической жизни, четвертые предпочитаютъ воспѣвать любовь и пр. Но тщетно вы будете искать въ ихъ поэзіи рѣзко выраженныхъ чертъ ихъ духовныхъ физіономій.

Они всѣ сливаются въ одинъ безразличный хаосъ изысканно стереотипныхъ образовъ и звуковъ. Поэзія ихъ имѣетъ совершенно такой же искусственно-школьный, отвлеченный характеръ, какой имѣла академическая живопись, черпавшая свое содержаніе не прямо изъ жизни, а изъ такъ-называемыхъ «великихъ образцовъ», полагая всю суть искусства въ подражаніи имъ.

Во главѣ этой школы слѣдуетъ поставить графа Алексѣя Константиновича Толстого.

Дебютировалъ Толстой въ 1842 году нѣсколькими разсказами въ прозѣ. Въ 1855 году онъ отдалъ въ первый разъ свои лирическія и эпическія стихотворенія въ различные журналы, а позже помѣщалъ ихъ ежегодно въ «Вѣстникѣ Европы» или «Русскомъ Вѣстникѣ».

Въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, при всей ихъ внѣшней красотѣ и живописной пластикѣ, напрасно вы будете искать такихъ особенностей, которыя рѣзко выдѣляли бы этого поэта и составляли бы его физіономію. Онъ напоминаетъ собою Жуковскаго въ томъ отношеніи, что самыми лучшими его произведеніями являются навѣянныя иностранными или русскими поэтами: таковы, напримѣръ, стихотво-

ренія, навѣянныя Лермонтовымъ: «Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ», «Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья», «Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ», «Горними тихо летѣла душа небесами». Другія напоминаютъ Гейне: «Змѣя, что́ по скаламъ влечетъ свои извивы», и многіе крымскіе очерки, напр.: «Вы все любуетесь на скалы», или «Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты». Драматическая поэма Донъ-Жуанъ, очевидно, внушена изученіемъ «Фауста» Гете, а Драконъ, итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данте.

Къ числу подобныхъ же подражательныхъ стихотвореній Толстого слѣдуетъ причислить и всѣ поддѣлки его подъ народныя пѣсни и былины, въ родѣ: Ходитъ спесь надуваючись, Кабы знала я, кабы вѣдала, Колокольчики мои, цвѣтики степные, Не Божьимъ громомъ горе ударило, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, Садко, Змѣй Тугаринъ и пр. Они красивы, какъ и все написанное Толстымъ, но въ нихъ и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ—того, что составляетъ прелесть и силу истинной и естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки. Но стихотворенія, навѣянныя разными поэтами и написанныя въ духѣ различныхъ народностей, представляются все-таки лучшими и наиболѣе удачными: въ нихъ отражалась, по крайней мѣрѣ, та поэзія, подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что же касается до вполнѣ самостоятельныхъ произведеній, то всѣ они безхарактерны, безжизненны и риторичны. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое характерное явленіе. Гр. А. Толстой былъ большой любитель природы, особенно малороссійской, среди которой провелъ всю жизнь. Въ одномъ мѣстѣ автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, по обыкновенію въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ, по большей части, въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась

въ его поэзіи почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ А. Толстой очень часто обращается къ природѣ и отличается щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая ихъ, вы не чувствуете обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ. Изъ описаній А. Толстого вы не въ силахъ бываете представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами не живыя, художественныя картины, а перечень предметовъ вразсыпную, при чемъ воображенію вашему предоставляется самому слагать эти предметы во что-либо цѣльное и связное. Такъ, напримѣръ, казалось бы, какой же природѣ, какъ не малороссійской слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого. А между тѣмъ, именно ея-то вы у него и не найдете, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, а лишь проѣзжалъ и видѣлъ ее мелькомъ изъ оконъ вагона. Для доказательства прочтите, напримѣръ, стихотвореніе: Ты знаешь край. Что здѣсь воспѣвается Малороссія, можно судить лишь по тому, что упоминаются названія, относящіяся къ этой странѣ, въ родѣ паробковъ, Маруси, Грицка, чубовъ, казачекъ или историческія имена, въ родѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что же касается колорита и характерныхъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то, вмѣсто всего этого, вы найдете рядъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой-угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтой съ Малороссіей.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, можетъ быть богатъ внутреннею жизнію, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ рядъ любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ явленій или философскихъ идей. Но и этого мы не можемъ сказать о Толстомъ. По міросозерцанію онъ стоитъ въ уровнѣ великосвѣтскаго кружка, которому принадлежалъ. Убѣжденія его поражаютъ васъ узостью формальнаго піэтизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головой. Въ мистицизмѣ этомъ вы видите полное отсутствіе самостоятельной мысли. Это не тотъ мистицизмъ, который создаетъ образы, хотя и дико-фантастическіе, но не лишенные

еобразной прелести, а тотъ, который, ради подобострастi вѣрности традиціямъ, лишаетъ иные образы присущей ь поэтичности, если поэтичность эта какъ-либо не согласется съ буквою догмата. Это мы можемъ наглядно видѣть въ аматической поэмѣ А. Толстого Донъ-Жуанъ, въ коой поэтъ превратилъ обольстительнаго своимъ дерзкимъ отестомъ Донъ-Жуана въ сентиментальнаго святошу, слезно лакивающаго грѣхи молодости въ севильскомъ монастырѣ и набожныхъ хорахъ монаховъ.

О дѣятельности гр. Толстого въ области исторической аматургіи и беллетристики мы имѣли уже случай говогь въ соотвѣтствующихъ главахъ.

А. Скабичевскій.

Драма въ Европѣ и у насъ *).

На Западѣ, гдѣ общественная жизнь развита весьма сильно и масса постоянно вліяетъ на настроеніе поэта, не только лучшія драматическія произведенія, но и чисто эпическія—романы, повѣсти, поэмы—являются проникнутыми богатымъ драматическимъ элементомъ, при чемъ главное вниманіе романистовъ устремляется не столько на обрисовку мелочей обыденной жизни, сколько на развитіе различныхъ драматическихъ положеній, имѣющихъ общечеловѣческое и соціальное значеніе. Даже народный эпосъ—каковы пѣснь о Нибелунгахъ или о Роландѣ—представляетъ въ себѣ прекрасные сюжеты для потрясающихъ трагедій. Съ другой стороны, и лирика на Западѣ подъ обаяніемъ толпы постоянно принимаетъ общественный характеръ.

Совершенно въ иномъ положеніи находится русскій писатель. Гдѣ вы найдете въ нашей жизни такія міровыя идеи, которыя двигали бы массами, каковы были идеи эпохи Возрожденія или философскаго движенія XVIII вѣка? Гдѣ у насъ такое настроеніе, которое можно было бы назвать общимъ, которое не было бы частнымъ настроеніемъ того или другого кружка? При однообразной монотонности нашей жизни, при одуряющей замкнутости, направленіе творчества нашихъ писателей неудержимо стремится къ созерцанію различныхъ подробностей, мелочей жизни. Преобладающимъ родомъ поэзіи при такихъ условіяхъ долженъ быть эпосъ, который и дѣйствительно является господствующею формой нашей литературы. Всѣ наши писатели воспитаны натуральною школой, которая именно учила изображать жизнь такъ, какъ она представляется нашимъ взорамъ во всѣхъ ея обыденныхъ мелочахъ и подробностяхъ. Подобное требованіе писатели

*) „Отечественныя Записки", 1873 г., № 5. Статья А. Скабичевскаго объ исторической драмѣ „Смерть Іоанна Грознаго". *Н. Д.*

наши вносятъ, къ величайшему сожалѣнію, и въ драму. Прежде всего поражаетъ васъ въ нашихъ отечественныхъ драмахъ отсутствіе всякаго страстнаго увлеченія какою-либо идеей. Въ нѣкоторыхъ вы найдете, пожалуй, блѣдную тѣнь драматической коллизіи, но именно блѣдную тѣнь: вмѣсто того, чтобы особенно напереть на развитіе драматическихъ положеній и выставить ихъ на первый планъ, авторы намѣчаютъ ихъ обыкновенно самыми общими блѣдными чертами. Очень часто при этомъ ихъ преслѣдуетъ тотъ убійственный и мертвящій натурализмъ, подъ вліяніемъ котораго имъ вдругъ иногда покажется, что какой-нибудь герой, при совершеніи даннаго дѣйствія, не можетъ изливать свои чувства. И вотъ, вмѣсто того чтобы нѣсколькими страстными монологами обрисовать психическое состояніе героя и настроить зрителей къ ожиданію катастрофы, подобно тому какъ, напримѣръ, Шекспиръ, задолго до убійства Дездемоны, заставляетъ зрителей, при одномъ видѣ бѣшенства Отелло, трепетать за бѣдную жертву, наши драматурги, желая остаться вѣрными дѣйствительности до смѣшного педантизма, заставляютъ героя проговорить нѣсколько отрывочныхъ словъ, и холодный читатель смотритъ на валяющіеся по сценѣ трупы въ концѣ драмы съ тѣмъ же хладнокровіемъ, съ какимъ слушаетъ объясненія въ любви въ первомъ дѣйствіи. Но отодвигая драматическія положенія на послѣдній планъ и обрисовывая ихъ самыми блѣдными чертами, въ то же время драматурги всю драму наполняютъ обыкновенно рядомъ бытовыхъ сценъ вполнѣ эпическаго характера. Чего только вы тутъ не найдете: и хороводы, и уличныя сцены, и дѣвичьи терема, и боярскія думы, и пирушки, и пріемы пословъ; такъ что, прочитавъ драму, вы видите, что цѣль ея заключается вовсе не въ томъ, чтобы тронуть васъ изображеніемъ какихъ-нибудь трагическихъ судебъ человѣческой жизни, а просто познакомить васъ съ бытомъ такого-то вѣка. Передъ вами не живое, страстное увлеченіе поэта, а сухой, холодный историческій трудъ, при чемъ нѣкоторые драматурги, каковы, напримѣръ, Чаевъ или Аверкіевъ, доходятъ до такихъ тонкостей, что даже стараются по лѣтописямъ и всевозможнымъ актамъ воспроизводить въ устахъ героевъ языкъ какого-нибудь XVI вѣка. Боже мой, но, вѣдь, это не живое поэтическое творчество, а мертвечина, схоластика! Вѣдь, это не драмы, а археологическія выставки живыхъ картинъ! Вѣдь, это хорошо

смотрѣть въ какомъ-нибудь музеѣ на подобныя картины, гдѣ вы все-таки въ движеніи, переходите съ одного угла въ другой, роетесь въ каталогѣ, куда вы, наконецъ, идете уже заранѣе настроенные на ученую скуку. Но представьте себѣ, что вы пришли въ театръ—развлечься отъ обыденныхъ занятій, забыться отъ мелочей и дрязгъ жизни созерцаніемъ какихъ-нибудь величественныхъ, выходящихъ изъ уровня сценъ—и вдругъ пять часовъ сряду просидѣть неподвижно передъ подвижною выставкой археологическихъ картинъ. Это, вѣдь, болѣе чѣмъ злая насмѣшка надъ вами! Это чистое смертоубійство! Но что же будете дѣлать съ нашими драматургами? Откуда взять имъ увлеченія, страсти, огня, когда ничего этого нѣтъ въ жизни.

Но, не ограничиваясь этою общею характеристикой, попытаемся подтвердить ее анализомъ наиболѣе выдающихся историческихъ драмъ, появившихся на сценѣ и въ печати, именно: «Козьма Мининъ-Сухорукъ» г. Островскаго и «Смерть Іоанна Грознаго» гр. Толстого. Мы увидимъ, что даже эти драмы при всѣхъ своихъ литературныхъ достоинствахъ не удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ драматическаго искусства.

Драмы гр. А. Толстого служатъ къ подтвержденію нашихъ взглядовъ. Особенно поучительно въ этомъ отношеніи сравненіе г. Островскаго съ гр. А. Толстымъ, какъ писателей. Г. Островскій представляется намъ типомъ художника, создающаго свои произведенія вполнѣ непосредственно, безъ всякихъ предвзятыхъ теорій и ухищреній. Онъ передаетъ намъ то, что внушаетъ ему жизнь, и ни въ одной пьесѣ его вы не найдете тѣни какой-либо претензіи передать больше, чѣмъ онъ можетъ. Поэтому у г. Островскаго вы нигдѣ не встрѣтите попытокъ поддѣлаться подъ какую-нибудь западную знаменитость—Шекспира, Шиллера или Гете. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ онъ является писателемъ вполнѣ самобытнымъ, чисто русскимъ, но, если вы не встрѣтите въ произведеніяхъ г. Островскаго ни одного такого мѣста, въ которомъ авторъ становился бы передъ вами на ходули, желая разыграть русскаго Шекспира, зато изрѣдка промелькнетъ передъ вами сцена, вполнѣ оригинальная, не носящая и тѣни подражательности, между тѣмъ отъ которой, можетъ-быть, не отказался бы и Шекспиръ. Таковы, напримѣръ, сцены—свиданія Лжедмитрія съ матерью царевича Дмитрія или сна Шалыгина въ комедіи «Воевода».

Совершенно въ иномъ видѣ представляется намъ гр. А. Толстой. Это писатель, очевидно, мѣтящій въ русскіе Шекспиры, никакъ не менѣе. Уже по одному тому, какими многорѣчивыми совѣтами относительно постановки своихъ пьесъ на сцену разражался онъ неоднократно, можно судить, какъ высоко ставитъ онъ свои пьесы, и притомъ совѣты эти произносились не за кулисами во время репетицій, гдѣ бы имъ было надлежащее мѣсто, а печатно, во всеуслышаніе передъ публикою на страницахъ различныхъ журналовъ, такъ что, очевидно, они предназначались не для однихъ современныхъ актеровъ, а въ назиданіе потомству, въ свѣдѣніе будущимъ Кинамъ и Ольриджамъ. Что касается до содержанія пьесъ гр. А. Толстого, то онѣ преисполнены не меньшими претензіями. Возьмемъ, для примѣра, наиболѣе извѣстную его пьесу Смерть Іоанна Грознаго.

Въ самомъ заглавіи пьесы есть уже претензія: гр. А. Толстой не довольствовался скромнымъ наименованіемъ своей пьесы драматическою хроникой, хотя она прямо принадлежитъ по своему характеру къ этому роду,—нѣтъ, передъ нами трагедія. Но, судя по содержанію пьесы, видно, что гр. А. Толстой имѣетъ весьма смутныя понятія о томъ, что такое трагедія.

Личность Іоанна Грознаго представляетъ безспорное богатство драматическихъ положеній, какъ по складу своего характера, такъ и по всѣмъ обстоятельствамъ своей жизни. Но вы подумайте, какой моментъ поставилъ бы истинный драматургъ въ центрѣ драмы, если бы, избравъ Іоанна главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, онъ захотѣлъ бы освѣтить эту личность, какъ трагическій характеръ? Очевидно, онъ избралъ бы для этого исторію того загадочнаго психическаго переворота, который сдѣлалъ изъ энергическаго юноши, полнаго жажды плодотворной дѣятельности, мрачнаго, безумнаго тирана. Какъ бы объяснилъ поэтъ этотъ переворотъ—это было бы дѣло его личныхъ взглядовъ и побужденій, но уже тотъ фактъ, что переворотъ этотъ можетъ возбуждать различныя объясненія, доказываетъ намъ, какъ богатъ этотъ сюжетъ для трагедіи. Графъ же А. Толстой избралъ для своей трагедіи смерть Іоанна Грознаго. Но что же трагическаго представляютъ въ себѣ послѣдніе дни жизни Іоанна? Ознаменовались ли они какимъ-нибудь особеннымъ нравственнымъ переломомъ или борьбою съ внѣшними обстоятель-

ствами? и что такое смерть его? есть ли это смерть героя, мученика или злодѣя, въ родѣ Макбета или Дункана? Ничего этого не было: если Іоанна терзала совѣсть въ послѣдніе дни его существованія, при воспоминаніи о всѣхъ своихъ злодѣйствахъ, то не менѣе, чѣмъ это было и прежде во всѣ годы его тиранства; если онъ продолжалъ неистовствовать и дурить, то, опять-таки, не только не болѣе прежняго, но, конечно, менѣе, вслѣдствіе старческой слабости; по крайней мѣрѣ, самодурства его не имѣли уже такого яркаго характера звѣрской необузданности и фантастичности, какъ годы наибольшей энергіи его. Однимъ словомъ, прожилъ человѣкъ до глубокой старости, не измѣнивъ ни въ чемъ своего нрава, и умеръ внезапно, въ минуту праздной потѣхи, играя въ шахматы. Подумаешь, какой поразительный, высокій трагизмъ! Только россійскому драматургу можетъ прійти въ голову создать трагедію изъ апоплексическаго удара! Мы не говоримъ, чтобы изображеніе послѣднихъ дней жизни Іоанна въ драматической формѣ было бы совершенно дѣломъ излишнимъ и суетнымъ и чтобы въ пьесѣ гр. Толстого не было художественныхъ сценъ, прекрасно обрисовывающихъ личность Іоанна Грознаго. Но назовите какъ хотите эти сцены, эпическимъ сказаніемъ въ драматической формѣ, хроникой, но не воображайте, что это трагедія, и не ставьте на сцену этого утомительнаго ряда живыхъ картинъ. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, что трагическаго во всей пьесѣ? Переберите всѣ ея главные моменты. Или, можетъ-быть, вы видите трагедію въ томъ фактѣ, что Іоаннъ, глядя въ гробъ, намѣревался развестись съ своей седьмой женою и жениться на восьмой? Правда, это могло бы послужить драматическою коллизіей, если бы соединялось съ какою-нибудь нравственною борьбой въ Іоаннѣ, прямымъ результатомъ котораго была бы смерть его, или же если бы результатомъ этого была бы трагическая катастрофа съ царицею Маріею, но ничего подобнаго мы не видимъ въ драмѣ: Іоаннъ помышляетъ о восьмомъ бракѣ съ такимъ хладнокровіемъ, какъ-будто дѣло шло о перемѣнѣ квартиры, а царица Марія хотя и горюетъ, но остается царицею до внезапнаго паденія Іоанна со стула, и драма кончается совершенно независимо отъ обстоятельствъ этого семейнаго раздора. Или, быть-можетъ, намъ слѣдуетъ видѣть трагическую коллизію въ томъ ослѣпленіи, въ какомъ находился Іоаннъ относительно внутреннихъ и внѣшнихъ дѣлъ своего

осударства, ослѣпленіи, причиною котораго было тиранство оанна, побуждавшее обезумѣвшихъ отъ страха царедворцевъ скрывать отъ него истину. Но и это могло бы служить драматическою коллизіей только въ такомъ случаѣ, если бы изъ этого прямо вытекала трагическая катастрофа, т.-е. смерть Грознаго; и этого мы не видимъ въ драмѣ: правда, Іоаннъ погорячился немного послѣ унизительной сцены съ Гарабурдою, какъ случалось ему, конечно, ежедневно горячиться во все время его царствованія, а потомъ и ничего: вѣсти о новыхъ побѣдахъ заставили его успокоиться и просіять.

Недостатокъ драматизма въ главномъ героѣ трагедіи поневолѣ заставилъ гр. Толстого искать драматической коллизіи въ побочныхъ дѣйствующихъ лицахъ, преимущественно въ Борисѣ Годуновѣ. Бѣдный Борисъ Годуновъ! Ты одинъ отшучиваешься за всѣхъ твоихъ историческихъ собратій и несешь на себѣ тяготу убожества драматической фантазіи нашихъ писателей, благо имъ мозолитъ глаза Макбетъ, по готовой выкройкѣ котораго тебя очень легко скраивать, и кто только не скраивалъ, начиная съ Пушкина и кончая гр. А. Толстымъ? Въ обрисовкѣ личности Бориса Годунова наиболѣе выражается претензія гр. Толстого подняться на шекспировскія ходули. Борисъ Годуновъ соединяетъ въ себѣ черты Ричарда и Макбета: онъ ведетъ хитрую интригу, съ цѣлью низвергнуть враждебную ему партію Нагихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ уже при Іоаннѣ Грозномъ мечтаетъ о царствѣ, подстрекаемый къ этому предсказаніемъ волхвовъ, представляющихъ грубый переводъ на русскіе нравы шекспировскихъ вѣдьмъ.

Но и въ личности Бориса Годунова, при всемъ усиліи подняться до Шекспира, гр. А. Толстому не удалось состряпать никакой драматической коллизіи. Что касается до борьбы Бориса Годунова съ Нагими, занимающей обширную часть пьесы, то здѣсь мы видимъ недостатокъ весьма крупнаго свойства и притомъ общій всѣмъ нашимъ драматургамъ. Дѣло въ томъ, что драма, стремясь возбудить въ насъ чувства жалости, скорби къ человѣческимъ бѣдствіямъ, должна употреблять для этого всѣ средства, и однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ является обаятельность героевъ. Для того, чтобы мы могли жалѣть героя, скорбѣть о немъ, даже если онъ является передъ нами преступникомъ, злодѣемъ, надо, чтобы онъ стоилъ сожалѣнія, чтобы онъ возбуждалъ въ насъ сочувствіе къ лучшимъ силамъ человѣческой при-

роды, гибнущимъ отъ жизненной дисгармоніи. Шекспиръ такъ всегда и дѣлалъ: съ одной стороны, въ драмахъ его является рядъ личностей, которыя тѣмъ болѣе раздираютъ наши сердца своею гибелью, чѣмъ обаятельнѣе они чарующею прелестью своихъ душевныхъ качествъ: таковы Корделія, Офелія, Дездемона, Джульета и пр.; съ другой стороны, предстаютъ передъ нами титаническія натуры, въ родѣ Отелло, Яго, леди Макбетъ, Ричарда III, натуры мрачныя, ужасающія и въ то же время заставляющія насъ удивляться ихъ могучимъ силамъ и возбуждающія въ насъ грустное раздумье о томъ, какъ хорошо могли бы люди эти употребить ихъ непреклонную волю, желѣзное хладнокровіе, эту гибкость ума,—и на что они все это употребили. Какъ только этихъ условій не соблюдено, и на сценѣ являются передъ вами обыденные, безцвѣтные люди,—и драматическая иллюзія слабѣетъ, холодно смотримъ мы на всѣ страданія и злодѣйства героевъ, при всемъ желаніи сочувствовать, негодовать или скорбѣть. Вотъ этихъ условій и не соблюлъ гр. Толстой. Съ одной стороны, онъ не сумѣлъ очертить личность Бориса такими чертами, чтобы она поражала насъ или приводила въ ужасъ: при всѣхъ своихъ замыслахъ и козняхъ—онъ рисуется передъ вами чрезвычайно блѣдно обыденнымъ царедворцемъ, устраивающимъ кривыми путями свою карьеру. Съ другой стороны, и Нагіе не возбуждаютъ въ васъ никакого сочувствія, которое могло бы заставить васъ трепетать за ихъ участь, какъ вы, напримѣръ, трепещете за участь Корделіи, Глостера, Кента—въ шекспировской трагедіи, основанной, въ свою очередь, на борьбѣ партій. Вслѣдствіе всего этого и выходитъ, что холодно смотрите вы на разыгрывающуюся передъ вами борьбу, и для васъ рѣшительно все равно, Нагіе ли побѣдятъ Бориса, или онъ ихъ низвергнетъ. Но откуда же происходитъ подобное неумѣнье автора обрисовывать характеры и развивать дѣйствіе такъ, чтобы читатель былъ пораженъ или тронутъ результатомъ борьбы? Очень понятно откуда: можетъ ли авторъ возбудить въ зрителяхъ участіе къ героямъ, къ которымъ онъ самъ относится съ полнымъ безучастіемъ археолога? Чтó ему Борисъ, Нагіе и чтó онъ Нагимъ? Другое было бы дѣло, если бы онъ могъ на историческія личности перенести идеалы, страсти, страданія своего вѣка, подобно тому, какъ Шиллеръ въ маркизѣ Позѣ или Гете въ Фаустѣ—воплотили все, чѣмъ только жили ихъ современники. Ну, а если у современниковъ

нѣтъ ни идеаловъ, ни страстей, ни страданій, а есть въ наличности одна безпробудная спячка и пассивная созерцательность пасущагося стада, откуда же взяться въ такомъ случаѣ огню, для того, чтобы авторъ могъ воспламениться имъ: самовоспламененій же не бываетъ тамъ, гдѣ все сковано холодомъ и льдомъ.

Я не знаю, нужно ли много распространяться относительно мечтаній Бориса о царствѣ и предсказаній волхвовъ. Единственно только недостаткомъ драматическихъ элементовъ въ жизни и творчествѣ писателя можно объяснить это грубое, чисто школьническое подражаніе Шекспиру. Замѣтимъ только, что гр. А. Толстой, въ своемъ подражаніи, упустилъ изъ виду одно и самое главное: именно ту чарующую художественность, которою проникнуты у Шекспира всѣ его фантастическіе образы; сверхъестественное является у Шекспира постоянно или какъ народный миѳъ, или какъ галлюцинація, греза; вы видите передъ собою какой-то туманный призракъ и недоумѣваете, что́ это такое: реальное ли это явленіе изъ какого-то таинственнаго міра, или это просто олицетвореніе того или другого психическаго движенія. Графъ же А. Толстой, какъ истинный россіянинъ, не терпящій ничего туманнаго, неопредѣленнаго и въ то же время не любящій, чтобъ его дергали за фалды, когда онъ расходится, вывелъ на сцену, въ видѣ волхвовъ, кореловъ, какъ есть во плоти и крови настоящихъ кореловъ, и заставилъ ихъ предсказать мѣсяцъ и день кончины Іоанна съ точностью астрономовъ, вычисляющихъ будущія затменія небесныхъ свѣтилъ! Прелестно!..

А. Скабичевскій.

Графъ А. К. Толстой какъ лирическій поэтъ [1]).

Немногочисленная семья современныхъ нашихъ поэтовъ недавно лишилась одного изъ лучшихъ своихъ сочленовъ. Русское общество въ правѣ теперь ожидать полнаго собранія сочиненій покойнаго, написавшаго далеко не мало послѣ книжки стихотвореній 1867 г. Такое изданіе вызоветъ въ свое время и обстоятельную критику. Моя же задача пока—только высказать нѣсколько поминальныхъ мыслей передъ свѣжею еще могилой.

Что произведенія гр. А. К. Толстого выливались непосредственно изъ души, какъ совершенно свободный актъ его поэтическаго творчества, что онъ настоящій поэтъ—это, я думаю, не подлежитъ сомнѣнію. Но время наше таково (можетъ-быть, это одна изъ его односторонностей), что даже и величайшее совершенство «художественной формы» цѣнится, главнымъ образомъ, потому, что при такомъ совершенствѣ сильнѣе дѣйствуетъ «содержаніе». Въ чемъ заключается это послѣднее—вотъ къ чему сводится для насъ все. Что же отвѣтить на этотъ вопросъ, имѣя въ виду поэтическія произведенія гр. А. К. Толстого?

Въ своемъ посланіи къ другому поэту, но поэту и вмѣстѣ съ тѣмъ публицисту, растворявшему огнемъ вдохновенія даже свои всѣмъ памятныя передовыя статьи, къ И. С. Аксакову,—гр. А. К. Толстой старается отклонить отъ себя упрекъ въ нѣкоторой отрѣшенности отъ текущихъ явленій: Я, говоритъ онъ,

....Не чуждъ и здѣшней жизни;
Служа таинственной отчизнѣ,
Я и въ пылу душевныхъ силъ
О томъ, что́ близко, не забылъ...

И всѣ мнѣ дороги явленья,
Тобой описанныя, другъ,
Твои гражданскія стремленья
И честной рѣчи трезвый звукъ.

---

[1]) Читано въ общемъ собраніи Литературнаго фонда, 26-го октября 1875 г.

Но онъ прямо сознается, что не можетъ остановиться на ;номъ этомъ; онъ замѣчаетъ про самыя выдающіяся явленія ѣйствительности:

Я въ нихъ иному гласу внемлю
И, жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа;

И что́ ее, всегда чаруя,
Зоветъ и манитъ вдалекѣ,
О томъ повѣдать не могу я
На ежедневномъ языкѣ!

А между тѣмъ, поэтическій языкъ гр. Толстого никогда не является языкомъ «приподнятымъ»; стихи его никакъ нельзя упрекнуть, собственно, въ такъ-называемой «торжественности» и «недостаткѣ простоты» (хотя объ этихъ упрекахъ и говорится въ томъ же оправдательномъ посланіи къ И. С. Аксакову). Напротивъ, по своему языку Толстой совершенно близокъ къ дѣйствительной жизни; въ этомъ смыслѣ и онъ вполнѣ захваченъ теченіемъ современнаго «реализма». Дѣло вовсе не въ языкѣ, а въ содержаніи,—въ томъ, что его поэзія не является вполнѣ поглощенною «злобой дня». Она, какъ и у Пушкина, еще далеко не чужда «отвлеченно-идеальныхъ» стремленій уединяться порою для «сладостныхъ звуковъ» и для «молитвъ»

На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы,

или даже «приподнимать ту завѣсу», которою, по выраженію Жуковскаго, «задернутъ отъ насъ горній міръ». Даже тѣ наслажденія чувствомъ художественной любви къ красотѣ, воплощенной въ женщинѣ, тѣ поэтически-страстныя наслажденія, которыя, подобно Пушкину, воспѣваются А. К. Толстымъ въ цѣломъ рядѣ глубоко-задушевныхъ элегій, проникаются у него своего рода мистическою возвышенностью, рѣшительно напоминающею выспренній пóшибъ Жуковскаго. Вспомнимъ, напримѣръ, слѣдующіе стихи Толстого:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище
Среди міровъ иныхъ,
Помедли здѣсь со мной, на этомъ пепелищѣ
Твоихъ надеждъ земныхъ...
. . . . . .

Сліясь въ одну любовь, мы—цѣпи безконечной
Единое звено,
И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной,
Намъ врозь не суждено.

Но тутъ же невольно припоминается и слѣдующее, также небольшое стихотвореніе, составляющее своеобразный pendant къ лермонтовскому: «По небу полуночи...» И тутъ представляется проносящаяся по небесамъ, безъ сомнѣнія, женская, глубоко любящая душа, только она тутъ не на землю летитъ, а съ земли улетаетъ...

Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:
«Что́ ты грустна и о чемъ эти слезы во взорѣ?»
Имъ отвѣчала она: «Я земли не забыла,
Много оставила тамъ я страданья и горя.

Здѣсь я лишь ликамъ блаженства и радости внемлю:
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы.
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы».

У Толстого не было уже и малѣйшихъ отзвуковъ той «идеализаціи чувственной красоты и чувственной любви», которая иногда сказывалась у Пушкина, какъ наслѣдіе французской эротической поэзіи XVIII ст., имѣвшей на него такое вліяніе въ его молодости. Женскіе образы А. К. Толстого постоянно оказываются обладающими «душевною красотой», и онъ лишь съ тѣмъ бо́льшимъ правомъ позволялъ себѣ отдыхать, созерцая ее, своею поэтическою душой—отъ міра дѣйствительности со всѣми его треволненіями:

Меня, во мракѣ и въ пыли
Досель влачившаго оковы,
Любови крылья вознесли
Въ отчизну пламени и слова.
. . . . . .
И съ горней выси я сошелъ,
Проникнутъ весь ея лучами,
И на волнующійся долъ
Взираю новыми очами...

Съ одной стороны, любовь въ этомъ возвышающемъ, облагораживающемъ значеніи, съ другой—природа съ ея вѣчными красотами, поэтически-надѣляемая сочувственною человѣку душой, постоянно побуждали Толстого (употребляя выраже-

ie Пушкина) къ «поэтическимъ побѣгамъ» изъ міра дѣйтвительности.

Но къ этимъ двумъ вѣчнымъ источникамъ поэтичекихъ наслажденій, къ идеальной любви и идеализированной природѣ, у Толстого, какъ и у Пушкина, присоединяется еще одинъ—самый актъ творчества—независимо отъ какихъ бы то ни было цѣлей и примѣненій. Вспомнимъ стихотвореніе уже послѣднихъ годовъ—«Слѣпой», въ которомъ выведенъ пѣвецъ, не замѣчающій, что слушатели разошлись отъ него въ то время, какъ онъ весь отдался порыву своего вдохновенія; узнавая объ этомъ, пѣвецъ говоритъ:

Я пѣлъ одинокъ, но тужить и роптать
Мнѣ, старому, было бъ грѣшно и нестать—
Наградъ мое сердце не ждало.

. . . . . .

Убогому пѣть не тяжелый былъ трудъ,
А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Занѐ онъ надъ нею не воленъ.
Не вѣдаетъ горный источникъ, когда
Потокомъ онъ въ степи стремится,
И бьетъ и кипитъ его, пѣнясь, вода,
Придутъ ли къ нему пастухи и стада
Струями его освѣжиться!

Этотъ поэтическій образъ независимости и непроизвольности творчества соотвѣтствуетъ тому, которымъ воспользовался Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи «Эхо»; только Пушкинъ, кромѣ непроизвольности поэтическихъ отзвуковъ, казываетъ еще на то, что они вызываются рѣшительно всѣмъ» въ природѣ. Но и эта сторона пушкинскаго опредѣленія поэзіи вполнѣ оправдывается А. К. Толстымъ. И его поэтическое участіе вызывалось даже скучной обителью такого, повидимому, непоэтическаго лица, какъ какой-нибудь станціонный смотритель, захрапѣвшій подъ сонный звукъ маятника, или запущеннымъ видомъ покинутаго барскаго дома, или, наконецъ, унылою картиной деревни въ сѣрый и пасмурный день, съ какимъ-нибудь оборваннымъ евреемъ—въ видѣ мало утѣшительнаго дополненія къ этому незатѣйливому ландшафту. Поэтъ нашъ находилъ одинаковый художническій интересъ и въ заоблачномъ мірѣ свѣтлыхъ и темныхъ духовъ, порящихъ изъ-за души геніальнаго Донъ-Жуана, въ которой возвышенная жажда свободы должна была перероди́ться въ разнузданность страсти, и въ нравственномъ одиночествѣ

русскаго мальчика, который подрастаетъ въ пустынѣ роскошныхъ палатъ, при гувернерѣ-педантѣ, и силою неизбѣжно разыгрывающагося при такихъ условіяхъ воображенія создаетъ себѣ любящее и любимое существо въ оживающемъ для него «Портретѣ». На самомъ закатѣ своей художнической жизни поэтъ, перенесясь въ средневѣковую Италію, заставилъ и насъ невольно участвовать вмѣстѣ съ нимъ въ суевѣрно-окрасившемся тамъ предчувствіи приближающагося напора нѣмцевъ, отчего и мерещился итальянцамъ залегшій все небо ужасный Драконъ. И мы невольно повѣрили нашему поэту, что это переводъ съ итальянскаго (тогда какъ оказывается, что поэма эта вполнѣ оригинальна), до такой степени проникся онъ тутъ духомъ старо-итальянской поэзіи. Муза Толстого (если еще позволительно употребить это выраженіе, ни разу не попадающееся въ его стихахъ, совершенно отрѣшившихся отъ той псевдо-классической закваски, которая еще сказывалась порою у Пушкина),—муза Толстого то заводила его въ сумрачный міръ шотландскихъ или скандинавскихъ преданій, нерѣдко связывая эти послѣднія съ древне-русскими [2]), то, зайдя съ нимъ къ балтійскимъ славянамъ, рисовала ему картину ихъ ожесточенной борьбы съ насильно навязываемымъ имъ христіанствомъ [3]), или же, перейдя въ древнюю Русь, заглядывала въ душу князю Владиміру, слѣдя въ ней за тою внутреннею борьбой, которая разрѣшилась, наконецъ, полнѣйшей готовностью смиренно склониться главой подъ благое иго христіанской вѣры [4]). Одна и та же отзывчивая душа поэта и живо увлекалась перерожденіемъ Грѣшницы подъ благостнымъ взоромъ Спасителя, и сочувственно вторила ратованью «язычника» Гете (какъ онъ самъ себя называлъ) во имя правъ чувственности, безпощадно приносившихся въ жертву христіанской идеѣ «духа» («Вѣстн. Евр.», мартъ. 1868 г.).

Коснувшись поэмы «Грѣшница», нельзя не замѣтить, что поэтъ нашъ совершенно проникся въ ней чисто-религіозною идеей «личнаго» обращенія къ Богу грѣшной души. Нимало не затронута имъ «соціальная» сторона вопроса.

---

[2]) Въ стихотвореніи: «Пѣсня о трехъ побоищахъ». «Вѣстн. Европы». 1869 г., май.

[3]) «Вѣстникъ Европы», 1871 г., май.—«Бесѣда», 1871 г., январь.

[4]) «Вѣстникъ Европы», 1869 г., сентябрь.

ıе трудно бы было коснуться, если бы онъ прямо держался ɔасной евангельской повѣсти съ многосодержательными ıми Спасителя: «Кто изъ васъ безъ грѣха, пусть тотъ ый броситъ въ нее камень». Уже и на основанiи этихъ. ь, которыми вовсе не воспользовался нашъ поэтъ, можно ıло выставить грѣхъ этой женщины грѣхомъ всего обще- естественнымъ слѣдствiемъ установившихся въ немъ дковъ, а такая постановка дѣла придала бы разсказу ıны отдаленной живой интересъ современности, прямо зязала его со «злобою дня».

Зато нашъ поэтъ въ полномъ смыслѣ связалъ такой ɔю и съ нашимъ и съ будущими вѣками другое свое зведенiе религiознаго содержанiя,—свое поэтическое е Iоанна Дамаскина. Изъ отдаленнаго прошлаго, мiра отшельническихъ легендъ христiанскаго Востока ствованы тутъ черты нестарѣющаго мiрового характера. скинъ, считающiй себя невольникомъ среди того блеска, ɔымъ его окружилъ калифъ, и на высотѣ той власти, ɔую онъ ему передалъ, служитъ своеобразнымъ воплоемъ того стремленiя къ художнической независимости, ɔымъ былъ до такой степени преисполненъ и самъ поэтъ [5]). мнимъ слова Iоанна:

Инымъ призванiемъ влекомъ,
Я не могу народомъ править:
Простымъ рожденъ я былъ пѣвцомъ,
Глаголомъ вольнымъ Бога славить.
Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ,
Мученья полонъ я и скуки;
Среди пировъ, въ главѣ дружинъ,
Иные слышатся мнѣ звуки.
Неодолимый ихъ призывъ
Къ себѣ влечетъ меня все болѣ,—
О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ.

Ѳтъ пустыни придворныхъ палатъ перейдя къ другой—къ матери-пустынѣ», которая такъ сочувственно воспѣвается ашихъ народныхъ «стихахъ»,—Дамаскинъ поетъ гимнъ,

) Со временемъ, когда сдѣлается возможною полная бiографiя А. К. ɔго, должна будетъ обнаружиться непосредственная связь «Iоанна кина» съ обстоятельствами жизни поэта, принадлежавшаго къ числу рѣдкихъ натуръ, у которыхъ слово не расходится съ дѣломъ.

[illegible]

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубыя небеса!

О, если бъ могъ всю жизнь сливать
Всю душу вмѣстѣ съ вами, слитно,
О, если бъ могъ въ мои объятья
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

Но живая любовь къ людямъ требуетъ [illegible]ня съ ними со всѣми. Брезгливое устраненіе [illegible]дня» съ ея обычными житейскими дрязгами, [illegible] въ незараженную высь созерцательной жизни [illegible] опасностью всецѣло уйти въ самого себя, за[illegible] этой нравственной могилѣ. Такого рода опасност[illegible] для Іоанна Дамаскина въ лицѣ того суров[illegible] которому отданъ онъ подъ начало. Но этотъ [illegible] старикъ является только вполнѣ логическим[illegible]лемъ отшельническаго направленія. Онъ требо[illegible]вый житель пустыни вполнѣ отложилъ

Ненужныхъ думъ безплодное брожень[illegible]

требуетъ, чтобы онъ отдался вполнѣ религіозно[illegible] заботѣ о соблюденіи себя отъ міра. Пусть [illegible] отъ того, что; вѣдь, и нужно лишь для общенья [illegible] не только отъ своихъ пѣсенъ, но и отъ сам[illegible] И Дамаскинъ увлеченъ на время непрекл[illegible] старика; не даромъ онъ восклицаетъ:

Такъ вотъ гдѣ ты, таилось, отреченье,
Что я не разъ въ молитвахъ обѣщал[illegible]
Моей отрадой было пѣснопѣнье,
И въ жертву Ты, Господь, его избралъ!

И точно, если пѣснопѣнье—только «его собственная рада», если онъ существуетъ исключительно для «него мого», а его убѣждаютъ, что ради «себя», ради «своей души», ту надобно отъ него отречься,—то какъ же не повиноваться одобному убѣжденію? Но Дамаскину приходится, наонецъ, сознать, что пѣснопѣнья его «нужны ближнему»; ь нему приходитъ другой, такой же отшельникъ, какъ онъ, о еще не порвавшій всѣхъ своихъ связей съ міромъ, а поому и изнывающій отъ скорби по своемъ умершемъ братѣ. скорбь эта такъ велика, что даже не знаетъ слезъ; но источикъ ихъ можетъ открыться отъ пѣсни Дамаскина. И вотъ, вольно исторгнутая мольбами скорбящаго, эта пѣсня опять олилась неудержимымъ потокомъ, а съ ней полились и езы изъ глазъ, такъ упорно ихъ не дававшихъ:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны
Насиліе и гнётъ:
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ.

Сказано ли это отъ лица Іоанна, сказано ли поэтомъ прямо ъ себя,—но въ этомъ, очевидно, выражается мысль поэмы; а развивается далѣе въ слѣдующихъ вопросахъ:

Ужели вправду мнишь ты, близорукій,
Сковать свои мечты?
Ужель попрать въ себѣ живые звуки
Насильно думалъ ты?

Но самымъ ходомъ поэмы сказано несравненно болѣе: ъ нея невольно вытекаютъ еще и такіе вопросы: «Ужели гъ ты видѣть въ твоемъ дарѣ пѣсенъ только «свою отраду»? о далъ тебѣ право утаить этотъ животворный даръ отъ выхъ людей? Не на то ли этому чудному дару и подобаетъ вобода», чтобы онъ смѣло вторгался въ самую «злобу дня» звучалъ, по выраженію Лермонтова,

Какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ!

Не ясно ли послѣ этого, что Толстой своимъ «Дамаскимъ» приведенъ былъ къ такому же взгляду на «общественое служеніе поэта», къ какому послѣ долгихъ отъ него отклоній пришелъ и Пушкинъ въ заключительныхъ словахъ ога къ Пророку:

... Обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!

«Іоаннъ Дамаскинъ», эта лучшая изъ поэмъ Толстого по красотамъ изложенія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая сочувственная и живая по своей основной мысли.

Извѣстно, что поэма эта первая появилась въ литературномъ органѣ такъ-называемыхъ «славянофиловъ», «Русской Бесѣдѣ», служа, по этой основной мысли, вполнѣ подходящимъ выраженіемъ того, что̀ составляетъ одну изъ основныхъ сторонъ славянофильскаго ученія. Но мысль о неотъемлемой свободѣ слова, этого существеннѣйшаго признака, по которому отличается человѣкъ отъ прочихъ созданій,—мысль въ равной мѣрѣ сочувственная и людямъ другихъ направленій. Отозвавшись въ ученіи славянофиловъ, собственно, на такую мысль, поэтъ нашъ никогда и не думалъ отдаваться ихъ направленію вполнѣ, какъ не могъ отдаться вполнѣ и противоположному направленію. Своей «идеѣ полнѣйшей поэтической независимости» оставался онъ вѣренъ и въ жизни, хотя и глубоко сознавалъ всю трудность неизбѣжно вытекавшаго изъ такой независимости одиночества:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ;
Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полнаго не будетъ между нами:
Не купленный никѣмъ, подъ чье бъ ни сталъ я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снесть,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Однажды, правда, поэтъ нашъ подалъ поводъ думать, не рѣшится ли онъ окончательно стать въ славянофильскій станъ, откликнувшись, повидимому, сочувственно на одну изъ самыхъ спорныхъ сторонъ его историческаго ученія извѣстными своими стихами: Государь ты нашъ батюшка, государь Петръ Алексѣевичъ [6]). Но цѣлый рядъ другихъ произведеній изъ русской исторіи нимало не оправдалъ такихъ—съ одной стороны, «надеждъ», съ другой—«опасеній».

Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣнку того пониманія отечественной исторіи, которое, каково бы ни выходило оно у

[6]) Напечатаны въ газетѣ «День».

·го поэта, оставалось вполнѣ независимымъ отъ какой-
историко-политической школы.

ъ числу его произведеній изъ русской исторіи принад-
ітъ, какъ извѣстно, и его драматическая трилогія, ко-
ı ждетъ еще обстоятельнаго разбора. Я же теперь касаюсь
какъ и другихъ его произведеній изъ отечественной
ріи, собственно, съ цѣлью напомнить о томъ, что поэтъ
ь является и тутъ, какъ во всемъ, не принесшимъ, по
обственному выраженію, стѣснительной клятвы никакому
у. Онъ постоянно старался подходить, такъ-сказать, ли-
ı къ лицу къ своему народу, отстраняя чье-либо настави-
ное посредничество и исключительно опираясь на свое
ю художническое чутье. И что же? Несмотря на помѣхи,
бѣжно вытекавшія изъ самыхъ свойствъ воспитанія и обра-
нія въ той искусственной средѣ, которой принадлежалъ
ь, ему нерѣдко удавалось достигать въ столь высокой мѣрѣ
средственнаго общенія съ народомъ, что въ его художе-
ıные стихи вторгались живьемъ народныя думы, или
адушевныя мысли поэта облекались въ первобытный на-
ый стихъ и въ стародавніе образы и обороты народнаго
чества. Въ этомъ именно отношеніи Толстой сдѣлалъ шагъ
едъ послѣ Пушкина, которому народность, какъ извѣстно,
разу далась, да и до конца, можетъ-быть, не далась въ
й мѣрѣ. Не самъ ли народъ, напримѣръ, говоритъ въ
ующихъ стихахъ Толстого:

Ой, кабъ Волга матушка да вспять побѣжала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы зимой цвѣты расцвѣтали!
Кабы мы любили да не разлюбляли!
. . . . . .
Кабы всегда чарка доходила до́ рту!
Да кабы приказныхъ по́ боку да къ чорту!
Да кабы звенѣли завсегда карманы!
Да кабы намъ, братцы, да свои кафтаны!
Да кабы голодный всякій день обѣдалъ!
Да батюшка-царь нашъ всю правду бы вѣдалъ!

Что́, какъ не чисто народная иронія, сказывается въ слѣ-
цей ярко своеобразной картинѣ:

Ходитъ Спесь надуваючись,
Съ боку на́ бокъ переваливаясь.
Ростомъ-то Спесь аршинъ съ четвертью,
Шапка-то на немъ во цѣлу сажень...

. . . . . .
А и зашелъ бы Спесь къ отцу къ матери,
Да ворота не крашены!
А и помолился бъ Спесь во церкви Божіей,
Да полъ не метёнъ!
Идетъ Спесь, видитъ: нá небѣ радуга;
Повернулъ Спесь во другую сторону:
Не пригоже-де мнѣ нагибатися.

Не чисто ли русская «широта» воззрѣнія, никакъ не уживающаяся съ тѣмъ, чтó называется «середкой на половинкѣ», поражаетъ васъ въ слѣдующихъ стихахъ Толстого:

Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!

Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
Коль карать, такъ ужъ за дѣло,
Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Извѣстно, что въ стихотвореніяхъ поэта нашего нерѣдко сказывается грусть-тоска. Пораженный однажды классическимъ образомъ Милона Кротонскаго, обносившаго каждый день вокругъ города маленькаго теленка, который все росъ и росъ и, наконецъ, обратился въ быка, тѣмъ не менѣе, въ силу привычки, приходившагося ему по силамъ,—поэтъ сейчасъ же воспользовался этимъ образомъ для такого сравненія:

Въ дни юности моей, съ судьбой въ отважномъ спорѣ,
Я, какъ Милонъ, взвалилъ себѣ на плечи горе,
Не замѣчая самъ, что бремя тяжело;
Но съ каждымъ днемъ оно невидимо росло,
И голова моя подъ нимъ ужъ посѣдѣла,—
Оно же все растетъ безъ мѣры и предѣла.

Но какъ было именно въ этомъ случаѣ не найти подходящихъ красокъ и въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, когда онѣ съ такимъ глубокимъ чувствомъ выносливости рисуютъ не менѣе художественные, въ своемъ родѣ, образы «горе-гореванья»? Толстой и воспользовался и на этотъ разъ готовыми чертами народной поэзіи не въ одномъ изъ своихъ стихотвореній; но я приведу лишь слѣдующій поразительно вѣрный образъ для той же идеи, задуманный и выполненный нашимъ поэтомъ въ совершенно народномъ духѣ:

Не Божіимъ громомъ горе ударило,
Не тяжелой скалой навалилося,—
Собиралось оно малыми тучками,
Затянули тучки небо ясное,
Посѣяло горе мелкимъ дождичкомъ,
Мелкимъ дождичкомъ-осенніимъ.
А и сѣетъ оно давнымъ-давно
И сѣчетъ оно безъ умолку...

Но такъ медленно изводиться станетъ невмоготу и при еличайшей выносливости,—и у поэта невольно тутъ вырыается пожеланье въ томъ же чисто народномъ вкусѣ:

А и бывало жъ другимъ счастьице:
Налетало горе вихремъ-бурею,
Ворочало горе дубы съ корнемъ вонъ.

Но, кромѣ злодѣя-горя, къ человѣку бываетъ приставлено це и другое безобразное существо, приходящееся сродни ервому. Поэтъ намъ рисуетъ и это новое чудище тѣми же, зятыми у народа, красками:

Нѣтъ, ужъ не вѣдать мнѣ, братцы, ни сна, ни покою!
Съ жизнью бороться приходится, съ бабой-ягою!
Старая крѣпко меня за бока ухватила,
Сломится, такъ и гляжу, молодецкая сила!
Пусть бы хоть молча, а то, вѣдь, накинулась съ бранью,
Слухъ утомляетъ мнѣ, сплетница, всякою дрянью.
Охъ, насолили мнѣ дрязги и мелочи эти!
Баба, постой, погоди, не одна ты на свѣтѣ!
Сила и воля нужны мнѣ для боя иного —
Послѣ, пожалуй, съ тобою мы схватимся снова.

Но сила и воля подкашиваются не оттого только, что ъ приходится постоянно разгребать передъ вами наваливае-ый на вашу дорогу житейскій соръ: онѣ нерѣдко остаются зъ дѣла и отъ избытка внутренняго содержанія, отъ нехо-нья-неумѣнья вставить его въ какія-либо опредѣленныя мки, такъ какъ всѣ эти рамки неизбѣжно стѣсняютъ вашу ободу. Дорожа всего болѣе безграничной независимостью ха, поэтъ нашъ вполнѣ сознавалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что а въ состояніи доводить до (въ своемъ родѣ) гамлетовскихъ звыходныхъ колебаній. Свое откровенное признаніе въ этомъ лекъ онъ опять въ оборотъ народной поэзіи, и облекъ сорщенно удачно—потому, надо думать, что въ самомъ наемъ народномъ характерѣ въ сильнѣйшей степени развита ширь, которая не позволяетъ уставиться разъ навсегда

подъ какой-либо одинъ уголъ зрѣнія или отдать себя, такъ сказать, въ кабалу одному какому-нибудь «толку». А жутко приходится иногда отъ этой черты характера, и невольно завидуется тому, въ комъ нѣтъ ея непокладистой шири. Вотъ народная дума о томъ Толстого:

Хорошо, братцы, тому на свѣтѣ жить,
У кого въ головѣ добра не много есть,
А сидитъ тамъ одно-одинешенько,
А и сидитъ оно крѣпко-накрѣпко,
Словно гвоздь, обухомъ вколоченный.

А хорошо оно потому, что такой человѣкъ всегда знаетъ, куда ему надо.

...Знай претъ впередъ, напроломъ идетъ,
Давитъ встрѣчнаго-поперечнаго.
А бѣда тому, братцы, на свѣтѣ жить,
Кому Богъ далъ очи зоркія,
Кому видѣть далъ во всѣ стороны.
И тѣ очи у него разбѣгаются...
И дойдетъ онъ до распутьица,
Не одну видитъ въ полѣ дороженьку,
И онъ станетъ — призадумается,
И пойдетъ впередъ, воротится,
Начинаетъ итти сызнова...
И всѣ люди его корятъ-бранятъ:
«Ишь; идетъ, молъ, озирается,
Ишь, стоитъ, молъ, призадумался,
Ему бъ мѣрить все да взвѣшивать,
На всѣ боки бы поворачивать»...

А время, между тѣмъ, идетъ себѣ да идетъ, жизнь не терпитъ, не дожидается, и обладающій подобнымъ избыткомъ душевныхъ силъ, тяготящимъ его самого, какъ богатыря Святогора, такъ же точно ихъ безплодно носившаго,—обладающій подобнымъ ненужнымъ избыткомъ силъ оканчиваетъ, наконецъ, тѣмъ, что «найдетъ себѣ гору, да на ней и заляжетъ», подобно тому же Святогору-богатырю, этому первому изъ нашихъ «Обломовыхъ». Но поэтъ нашъ схватилъ и эту сторону народнаго типа, при помощи опять же народныхъ красокъ:

Ты, невѣдомое, незнамое,
Безъ виду, безъ образа,
Безъ имени-прозвища,—
Полно гнуть меня ко сырой землѣ,
Донимать меня, добра молодца!
Какъ съ утра-то встану здоровешенекъ,

Здоровешенекъ, кажись, гору сдвинулъ бы,
А къ полудню уже руки опущаются,
Ноги словно ко землѣ приросли.

новое, особое чудище, стóящее и безобразной бабищи
:оромъ-дрязгомъ и гореваньица-горя, наваливающагося
ечи молодцу,—новое чудище сидитъ себѣ да сидитъ
изголовьица, да надъ нимъ же и насмѣхается:

«Ой, удалъ-силенъ добрый молодецъ,
Еще много ли на боку полежано,
Силы-удали понакоплено,
Отговорокъ-то понахожено?
А и много ли богатырскихъ дѣлъ,
На печи сидючи, понадумано,
Вахлаками другихъ поругано,
Себѣ спину почесано?»

) если такъ легокъ переходъ отъ колебательнаго стоянія
путьѣ къ спокойному сидѣнію на печи, то тутъ зато не
ешь попасть въ положеніе тѣхъ братьевъ, которые въ
ной притчѣ Толстого «о правдѣ», перебились изъ-за
смерти, а все оттого, что каждый смотрѣлъ на нее съ
о» своего конца и не допускалъ возможности посмотрѣть
:акого-нибудь «другого». Спасая отъ такого пагубнаго
, стоянье внѣ всякаго опредѣленнаго стана представля-
:ашему поэту особенно привлекательнымъ потому, что
цало его независимый духъ отъ всякаго рода соблаз-
-даже отъ соблазновъ «похвалъ и хулы» своихъ же
никовъ. И поэтъ нашъ до конца оставался вѣренъ тому
/, который начертанъ имъ, между прочимъ, въ слѣдую-
давнишнихъ его стихахъ:

Ни предъ какой земною властью
Своей онъ мысли не таитъ,
Не льститъ неправому пристрастью,
Враждѣ неправой не кадитъ.
Ни предъ вѣнчанными царями,
Ни предъ судилищемъ молвы
Онъ не торгуется словами,
Не клонитъ рабски головы.
Друзьямъ въ угодность, боязливо
Онъ никому не шлетъ укоръ;
Когда жъ толпа несправедливо
Свой постановитъ приговоръ,
Одинъ, не слѣдуя за нею,
Предъ тѣмъ, чтó чисто и свѣтло,

Дерзаетъ онъ, благоговѣя,
Склонить свободное чело.

Эта-то смѣлая рѣшимость плыть и «противъ теченія» привела нашего поэта къ тѣмъ стихотвореніямъ позднѣйшаго времени, въ которыхъ онъ, какъ памятно всѣмъ намъ, враждебно затронулъ нѣкоторыя, бывшія тогда самоновѣйшими, а теперь, пожалуй, уже и постершіяся угловатости. При этомъ поэтъ нашъ могъ въ значительной мѣрѣ руководиться своимъ чувствомъ художника, оскорбившагося прежде всего за свое божество — красоту; этимъ, по крайней мѣрѣ, отзывается у него слѣдующая характеристика:

Они звона не терпятъ гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣряти,
Все, кричатъ они, надо похерити!..
. . . . . .
И пріемы у нихъ дубоватые,
И ученье-то ихъ грязноватое... [7])

Во всякомъ случаѣ, на явленія этого рода поэтъ нашъ взглянулъ съ той же отвлеченно-художнической точки зрѣнія, которая сказалась у него и въ поэмѣ «Грѣшница». Какъ тамъ онъ усмотрѣлъ исключительно вину самóй «личности» въ томъ, чтó должно быть отнесено и насчетъ всего общества, такъ и тутъ—въ этихъ «дубоватыхъ пріемахъ» и въ этомъ «грязноватомъ ученьи»—ему видѣлась только какая-то странная прихоть извѣстнаго рода людей, тогда какъ направленіе ихъ непосредственно вытекало изъ цѣлаго ряда предшествовавшихъ явленій...

Но я ограничусь однимъ указаніемъ на то, какъ могли появиться у нашего поэта и принять такой склонъ эти его сатирическія произведенія, во всякомъ случаѣ остающіяся столько же «искренними», какъ и все, чтó выливалось изъ-подъ его пера. Боясь отдаться въ полонъ «злобѣ дня», онъ, какъ живой человѣкъ, нерѣдко касался ея, не измѣняя при этомъ той «вѣчной правдѣ и вѣчной красотѣ», которой по преимуществу служитъ художникъ; но постоянное опасеніе этой «злобы» держало его нѣсколько въ сторонѣ отъ дѣйствительной жизни, а это-то и помѣшало ему, невольно отозвав-

[7]) Стихотвореніе «Пантелей-цѣлитель».

шись и на упомянутыя явленія недавней поры, постановить о нихъ такой приговоръ, который вполнѣ бы удовлетворялъ неумытной правдѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и чувству художнической мѣры и безпристрастія.

Тяжело бы было теперь, когда мы, какъ я выразился вначалѣ, стоимъ еще «передъ свѣжей могилой» перебирать, одно за другимъ, тѣ произведенія, въ которыхъ нашему поэту пришлось волею-неволею, за свое излишнее опасеніе «злобы дня», поплатиться принесеніемъ ей же такой щедрой дани, которая вышла въ ущербъ и его поэтическому дару и его чувству самостоятельности, такъ какъ дань эта на время придвинула его очень близко къ одному изъ весьма выдававшихся становъ. Надо думать, что онъ самъ почувствовалъ это и, остановившись вовремя, сберегъ и свой честный характеръ и свой чистый поэтическій даръ... Во всякомъ случаѣ, вѣрно то, что Толстой былъ искрененъ всегда, оставался искреннимъ и въ самыхъ своихъ одностороннихъ увлеченіяхъ; его натура была цѣльная, и, какъ всѣ подобныя натуры, онъ не былъ преднамѣренъ, а потому иногда не былъ и послѣдователенъ; мы теперь еще не можемъ имѣть правильнаго понятія о его уклоненіяхъ, такъ какъ въ печать попали пока уклоненія его только въ одну сторону; въ рукописной литературѣ найдется, конечно, немало уклоненій его и въ другую сторону—еще болѣе рѣзкихъ и уже не имѣющихъ ничего общаго съ тѣмъ станомъ, которому нравились первыя.

Въ заключеніе этой поминальной замѣтки приведу стихи, вылившіеся у гр. Толстого уже давно и обличающіе, какъ это часто бываетъ у лириковъ, въ душѣ самого поэта то, что́, вмѣстѣ съ тѣмъ, подлежитъ обличенью и въ цѣломъ обществѣ. Стихи эти затрагиваютъ тотъ нашъ недугъ, который долженъ бы былъ возбуждать опасенія пуще всякихъ другихъ недуговъ. Въ самомъ дѣлѣ, по какимъ бы ложнымъ путямъ ни направлялись живыя силы,—и самое блужданіе ихъ должно быть предпочтено тому мертвенному застою, о которомъ съ такимъ нравственнымъ ужасомъ говорилъ поэтъ:

Я задремалъ, главу понуря,
И прежнихъ силъ не узнаю;
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою!
Какъ гласъ упрека, надо мною
Свой громъ призывный прокати,

И выжги ржавчину покоя,
И прахъ бездѣйствія смети!
Да вспряну я, Тобой подъятый,
И, внявъ карающимъ словамъ,
Какъ камень отъ удара млата,
Огонь таившійся издамъ!

Многіе ли могутъ сказать, что имъ не понадобится такая, вылившаяся устами поэта, возбудительная молитва?

Ор. Миллеръ.

«Грѣшница», поэма А. Толстого [1]).

Нетрудно угадать причины той широкой популярности, которою пользуется поэма гр. А. Толстого Грѣшница; но въ высшей степени удивителенъ тотъ фактъ, что профессіональная критика ни разу не захотѣла справиться, насколько событіе, въ ней разсказанное, согласно съ данными исторіи. Дѣло въ томъ, что вся фабула поэмы, отъ начала и до конца, съ точки зрѣнія исторіи, въ высшей степени вѣроятна. Въ дѣйствительности и не было и не могло быть ничего подобнаго. Въ предѣлахъ Палестины, въ данный періодъ времени, богатые и знатные евреи не могли на глазахъ у всѣхъ собраться въ домѣ блудницы. Фарисеи, гордые показною святостью, строгіе ревнители обряда, не осмѣлились бы сразу потерять все свое вліяніе на народъ посѣщеніемъ чертоговъ «падшей дѣвы». Они считали себя оскверненными, если рука блудницы прикасалась къ воскриліямъ ихъ одеждъ, и, несомнѣнно, не они оставили своихъ возницъ и коней на дворѣ грѣшницы. Саддукеи, правда, слыли эпикурейцами еврейства: но ихъ эпикуреизмъ опирался на свободное толкованіе закона ужиточества и формы земной жизни пытался поставить въ связь съ стройностью загробнаго существованія. Кромѣ того, это была могучая партія, которая оспаривала у фарисеевъ вліяніе на народъ, давала изъ своей среды вліятельнѣйшихъ представителей священнической власти и явнымъ оскорбленіемъ цѣломудрія, конечно, побоялась бы дать фарисеямъ сильное орудіе противъ себя. Ессеямъ,—этимъ аскетамъ-путынножителямъ,—конечно, совсѣмъ уже не мѣсто въ чертогахъ, убранныхъ богато [2]). Правда, у Ирода на берегу Генисаретскаго озера былъ роскошный дворецъ съ мраморными

---

[1]) Н. М. Соколовъ: «Иллюзіи поэтическаго творчества».

[2]) Ессеи — еврейское религіозное аскетическое общество, основанное во времена Маккавея Іонафана (150 лѣтъ до Р. Х.). Ессеи стремились, какъ глубоковѣрующіе евреи, вернуться къ древнему ученію Моисея и пророковъ. Въ противоположность фарисеямъ и саддукеямъ, двумъ политическимъ партіямъ, смущавшимъ своими распрями государственную и обще-

львами и колоннадами, гдѣ тетрархъ давалъ пиры римлянамъ и гдѣ гости развлекались пляскою Иродіады. Но не въ Иродѣ типы и нормы еврейства. Кто же былъ на пиру у блудницы? Римляне? Но они не стали бы говорить «о ненавистномъ игѣ Рима». Греки? Да, гетеры—явленіе ихъ жизни, а «грѣшница» во многихъ чертахъ напоминаетъ аѳинскихъ гетеръ. Если бы поэтъ перенесъ мѣсто дѣйствія въ Аѳины, назвалъ грѣшницу гетерою и посадилъ за ея трапезой Перикла съ друзьями,—и пиръ, и чертоги, и все стало бы понятно; тогда было бы можно повѣрить, что гости свободно говорили «о торговлѣ, и мирѣ и войнѣ». Но это—не темы для разговора между вліятельными евреями. Самъ пресмыкающійся тетрархъ не посмѣлъ бы заикнуться о войнѣ и мирѣ; всѣ вопросы внутренней и внѣшней политики были въ суровыхъ рукахъ прокураторовъ, и самое ничтожное проявленіе призрачнаго самоуправленія получало силу только послѣ римской санкціи. Поэту можно было бы повѣрить, если бы онъ заставилъ гостей говорить о великихъ диспутахъ Гиллела и Шамайи [3]), но тогда ему пришлось бы удалить блудницу. Онъ могъ бы оставить и блудницу, если бы только онъ уничтожилъ богатые чертоги и удалилъ именитыхъ гостей. Итакъ, такихъ гостей не могло быть за трапезой блудницы, и еврейскіе гости не могли «свободно» вести политической застольной бесѣды въ ея салонѣ.

Что же такое эта «падшая дѣва»,—грѣшница или блудница? Конечно, блудница; и жаль, что поэтъ иногда называетъ ее «грѣшницей»; это приводитъ на память совсѣмъ иныя явленія еврейской жизни, которыя къ данной фабулѣ

ственную жизнь страны, ессеи были чужды духа нетерпимости и политиканства. Своимъ взаимнымъ дружелюбіемъ, трудомъ, воздержаніемъ и отчужденіемъ отъ свѣтской суеты ессеи достигли высшей священнической святости.

Н. Д.

[3]) Гиллелъ — знаменитый еврейскій ученый и глава Верховнаго Совѣта во времена Р. Хр. Гиллелъ учился подъ руководствомъ ученаго Шамайи и впослѣдствіи на ряду со своимъ учителемъ сталъ главнымъ авторитетомъ раввинской школьной учености. Но въ то время, какъ Гиллелъ толковалъ законъ въ духѣ кротости и смиренія, Шамайя склоненъ былъ смотрѣть на этотъ вопросъ болѣе узко, сурово и формально. Это вызывало постоянныя пререканія между этими учеными, бывшими также и членами Верховнаго Совѣта.

Н. Д.

не имѣютъ ровно никакого отношенія. Блудницы у евреевъ, конечно, были, но такихъ блудницъ, какую представляетъ намъ поэтъ, не было. Мало того, что блудница Толстого сидитъ среди почетныхъ гостей на почетномъ мѣстѣ; мало того, что ней жемчугъ, алмазы и злато,—она стоитъ «выше» мужей и старцевъ, рядомъ съ нею осушающихъ чашу, она не боится ничьей власти, она имѣетъ свое «ученіе», т.-е. является убѣжденною жрицей чувственности. Съ исторической точки зрѣнія все это просто смѣшно. До «ученія» ли ей, если говорить съ нею считается позоромъ и преступленіемъ?

Исторіи въ поэмѣ нѣтъ; у евреевъ не было такихъ блудницъ; подробности обстановки событія—продуктъ одного воображенія поэта; Великій Учитель никогда не прибѣгалъ къ чуду для обращенія блудницъ; смыслъ аналогичныхъ событій, сохраненныхъ въ исторіи и преданіяхъ, былъ совершенно не тотъ. И характеры и фабула поэмы слагаются внѣ условій даннаго времени; это—мечта поэта, сверху донизу открытая эстетической критикѣ. Мы признаемъ право поэта не подчиняться рабски даннымъ исторіи, когда онъ имѣетъ въ виду созданіе законченнаго типа, возможнаго при всякихъ историческихъ условіяхъ. Во имя чего же гр. А. Толстой совершенно отказался отъ «мѣстнаго колорита», освободилъ событіе отъ всѣхъ этнографическихъ и бытовыхъ особенностей? Какой общечеловѣческій типъ заслонилъ отъ его вниманія историческій типъ еврейской блудницы? Отмѣтимъ главные моменты поэмы.

Богато убранные чертоги, блескъ золота и хрусталя, дворъ, полный возницъ и коней, зелень и цвѣты кругомъ зданія

И межъ столбовъ, у входа дома,
Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты.

Но это не пьяная и безпорядочная оргія: за пышною трапезой идетъ вполнѣ приличный и очень серьезный разговоръ; для собранія не новость и слухъ о необычайномъ мужѣ; дѣла и ученіе этого мужа передаются подробно и точно. По достовѣрному свидѣтельству исторіи, тѣ люди, которые могли сходиться въ богатыхъ чертогахъ, всегда злобно и завистливо говорили объ этомъ другѣ грѣшниковъ и мытарей, не вѣрили его чудесамъ, отвергали его ученіе. Если бы среди собранія былъ хоть одинъ книжникъ, онъ не перенесъ бы спокойно

того замѣчанія, что всѣ законы Моисея подчинены одному закону любви. Любой фарисей съ злымъ торжествомъ упомянулъ бы о нарушеніи законоположеній о субботѣ. Каждый, кто только осмѣлился бы признать новаго учителя, подвергся бы укорамъ и подозрѣніямъ. Но мы уже говорили, что это не обыкновенные гости: они въ высшей степени сдержанны и приличны; они очень далеки отъ еврейскихъ воззрѣній и не по-еврейски благодушны. Въ поэмѣ историческія роли перемѣнились. Признаніе новаго учителя встрѣтило протестъ не у блюстителей еврейскаго вѣроученія, а у блудницы, у которой было свое спеціальное «начало». Драматизмъ, намѣченный въ исторіи, переносится на новую почву. Что же представляетъ изъ себя эта грѣшница?

Ея причудливый нарядъ
Невольно привлекаетъ взоры:
Ея нескромные уборы
О грѣшной жизни говорятъ...
Глаза насмѣшливы и смѣлы,
Какъ снѣгъ Ливана зубы бѣлы,
Какъ зной улыбка горяча;
Вкругъ стана падая широко,
Сквозныя ткани дразнятъ око,
Съ нагого спущены плеча.
Ея и серьги и запястья,
Звеня, къ восторгамъ сладострастья,
Къ утѣхамъ пламеннымъ зовутъ;
Алмазы блещутъ тамъ и тутъ,
И, тѣнь бросая на ланиты,
Во всемъ обиліи красы,
Жемчужной нитью перевиты,
Падутъ (?) роскошные власы.

Пока, это—языкъ «причудливаго убора», по-своему, конечно, краснорѣчивый; но онъ больше говоритъ о богатствѣ и, въ особенности, о красотѣ блудницы, чѣмъ о нескромности. Съ современной точки зрѣнія, нескромности въ костюмѣ такъ мало, что она, пожалуй, и не отмѣтила бы слѣдовъ грѣшной жизни, если бы поэтъ не подчеркнулъ этого. Впрочемъ, всѣ подробности костюма говорятъ о вполнѣ приличномъ грѣхѣ; въ немъ такъ много и тонкаго вкуса и своеобразной красоты, что сквозящая чрезъ него грѣшная жизнь едва ли можетъ шокировать кого-нибудь. Поэтъ и самъ чувствовалъ, что нескромные уборы нуждаются въ комментаріи. Оставивъ языкъ образовъ, онъ дѣлаетъ суровую подпись подъ картиною:

Въ ней совѣсть сердца не тревожитъ,
Стыдливо не вспыхаетъ (?) кровь,
Купить за злато всякій можетъ
Ея продажную любовь.

Эффектъ красоты уничтоженъ; это—только блудница, и не подняться ни на одну ступень выше; это «злато» и этотъ всякій» сразу уничтожаютъ иллюзію и возможность дальнѣйшаго драматизма. Это «ученіе» всякой блудницы и вызовъ имя его едва ли докажетъ что-нибудь, кромѣ безстыдства глупости. Тѣмъ не менѣе, вызовъ былъ сдѣланъ и повторенъ:

«Я власти не страшусь ничьей!
Закладъ со мной держать хотите ль?
Пускай предстанетъ вашъ Учитель,
Онъ не смутитъ моихъ очей!»

Если бы вызовъ ограничился только этими отрицательными чертами, блудница, конечно, не вышла бы изъ предѣловъ своей профессіи. Не бояться ничьей власти, не смущаться ни передъ чьимъ взоромъ—вполнѣ опредѣленная особенность совѣсти; слишкомъ великъ былъ бы рискъ того, то принялъ бы такой оригинальный закладъ. Но блудница детъ дальше:

«Ты тотъ, что учитъ (?) отреченью?
Не вѣрю твоему ученью,
Мое надежнѣй и вѣрнѣй.
Лишь наслажденьемъ я влекома,
Съ постомъ, съ молитвой незнакома,
Я вѣрю только красотѣ,
Служу вину и поцѣлуямъ»...

Это уже новыя рѣчи. Кромѣ золота, въ счетъ идутъ и наслажденіе, и красота, и вино, и поцѣлуи. Изъ этихъ, во всякомъ случаѣ, неодинаковыхъ элементовъ создано и ученіе, вѣра, и служеніе блудницы; пропорціи смѣси намъ не даны поэтому типъ блудницы, именно какъ блудницы, не установленъ достаточно ясно. Но одно то обстоятельство, что и въ томъ вызовѣ есть ученіе о красотѣ и наслажденіи, невольно напоминаетъ намъ другіе вызовы, основанные на подобныхъ данныхъ. Вспоминается и Клеопатра изъ «Египетскихъ ночей» и Тамара въ черной башнѣ Дарьяльскаго ущелья.

Обѣ царицы-вакханки служатъ наслажденію и обѣ по-своему. Клеопатра утомлена, пресыщена властью; нѣтъ и

тѣни сомнѣнія во всемогуществѣ ея обаянія; но ей кажется, что не сдѣлано одного, послѣдняго опыта, не приведено послѣдняго доказательства всепобѣждающихъ чаръ Киприды; есть еще выборъ между наслажденіемъ и смертью. Страшный вызовъ брошенъ, и нужно мужество, чтобы принять его; не даромъ сѣдой Фланій идетъ на этотъ призывъ, какъ ходилъ когда-то въ бой. И для самой Клеопатры есть въ этомъ вызовѣ что-то мучительно-серьезное. Не даромъ въ ея молитвѣ рядомъ съ Кипридой призываются подземные цари и боги мрачнаго Аида! Не даромъ послѣ клятвы, послѣ самобичующаго признанія «простой наемницы», въ ея словахъ снова звучитъ безпощадная жестокость! Не месть ли это жизни и людямъ за то, что власть исчерпана, что дальше нѣтъ ничего, что сердце не ждетъ уже неизвѣданныхъ и сильныхъ волненій! Отрывокъ Пушкина даетъ болѣе законченный и цѣлостный образъ, чѣмъ лермонтовская «Тамара». Надъ дарьяльскою башней много тайны; поэтъ уронилъ только нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ, полныхъ суровой мощи и непроницаемой тайны. Тамара коварна и зла, какъ демонъ: но голосъ коварной царицы—весь страсть и желаніе, въ немъ всесильныя чары, въ немъ непонятная власть. Царица зла, но на призывъ ея желанія идутъ и воинъ, и пастухъ, и купецъ; она зла, но, когда безгласное тѣло уносится Терекомъ, въ окнѣ что-то бѣлѣетъ, и оттуда звучитъ «прости».

И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ-будто восторги свиданья
И ласки любви обѣщалъ...

Да, и здѣсь «всякій», и здѣсь «страстный торгъ». Но развѣ одно презрѣніе будятъ эти образы, такъ высоко поднимающіеся надъ плоскостью будничныхъ типовъ? Развѣ можно покончить съ царственными вакханками высокомѣрнымъ, добродѣтельнымъ и лаконичнымъ изреченіемъ прописной морали: «Въ нихъ совѣсть сердца не тревожитъ». У нихъ свое сердце, и судить это сердце будетъ не та совѣсть, которой такъ много на человѣческомъ языкѣ.

Да, грѣшница гр. Толстого напоминаетъ и эти поэтическіе образы; очевидно, что и свою блудницу поэтъ хотѣлъ облечь величіемъ и властью красоты и наслажденія; и его воображенію снилась убѣжденная жрица Киприды, обольститель-

ная рабыня и царица чувственности. Но... образъ не удался; ему, прежде всего, недоставало той обстановки, которая могла бы подчеркнуть чары красоты; за пышною трапезой сидѣли какіе-то низкіе и презрѣнные гости, которые за любовь платили «только» золотомъ; и не имъ былъ брошенъ вызовъ; они были нужны для начала фабулы, и поэтъ поторопился позабыть ихъ безличное стадо, какъ только они сослужили свою службу. Образъ не удался и потому, что у поэта дрогнула рука и внесла въ образъ черты дѣйствительно блудницы, во всемъ грубо-циничномъ смыслѣ этого слова, внѣ смягчающихъ тоновъ метафоры. Грѣшница продажна и безстыдна. Правда, она красива, но и здѣсь,—конечно, это мелочь,—слово поэта было сдержано какимъ-то внутреннимъ сомнѣніемъ и колебаніемъ; предъ нею «наврядъ» устоятъ мужи и старцы, т.-е., можетъ-быть, они еще и устоятъ,—вѣдь, не обращали же они на нее вниманія въ началѣ поэмы, вѣдь, до своего вызова она не стояла въ центрѣ событій. Во имя чего же она считаетъ себя способною спорить съ чьимъ-угодно величіемъ? Что же даетъ ей силу не опустить глазъ предъ каждымъ честнымъ и чистымъ взоромъ? По ходу поэмы мы узнаемъ только, что она еще не видала величія, не знала чистоты и свободы отъ рабства сладострастія. Это придаетъ ея вызову хвастливый и, несомнѣнно, легкомысленный характеръ. Но попробуемъ посмотрѣть на нее только какъ на глубоко-испорченную и легкомысленную женщину, отнимемъ отъ нея картонное величіе, а отъ ея ученія всякое подобіе серьезности и искренности. Одно это предположеніе сразу уничтожаетъ весь смыслъ поэмы. Неужели хвастливыя и неразумныя слова стоили чуда? Неужели противъ этого страннаго «ученія» блудницы надо было ставить то ученіе, выше котораго не имѣетъ человѣчество? Тогда не останется и намека на возможность антитезы, и серьезный тонъ первой половины поэмы сразу потеряетъ всякое основаніе. Что же противопоставилъ поэтъ такой грѣшницѣ?

Къ толпѣ, шумящей праздно (?),
Подходитъ мужъ благообразный (!).
Его чудесныя черты,
Осанка, поступь и движенья,
Во блескѣ юной красоты,
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный видъ

Неотразимой дышитъ властью,
Къ земнымъ утѣхамъ нѣтъ участья,
И взоръ въ грядущее глядитъ.

За исключеніемъ двухъ послѣднихъ строкъ, и новое «начало» характеризуется внѣшними чертами; но тотъ конкретный образъ, который стоялъ передъ глазами поэта, былъ неотчетливъ и неясенъ; слово скользитъ по пластическимъ очертаніямъ, не захватывая ничего ярко-характернаго. Простое благообразіе и величественный видъ, полный неотразимою властью; юная красота, полная огня и вдохновенія, и чудесныя черты,—все это разсчитано на зрительныя воспріятія и, въ сущности, ничего не даетъ глазу; мы не можемъ видѣть «пришельца» такъ же ясно, какъ видѣли раньше «падшую дѣву»; всѣ внѣшнія черты прячутся за дымкою отвлеченныхъ понятій, но и это не подготовляетъ насъ къ сознанію новаго ученія. И все-таки, при чтеніи этой характеристики, мы не можемъ забыть реальныхъ, полныхъ чувственной экспрессіи, очертаній блудницы; все-таки мы ждемъ и должны ждать отъ поэта прежняго мастерства въ живописной выразительности.

Но это—переходный моментъ драмы; въ пришельцѣ все еще слишкомъ много земного: и величественный видъ, и власть, и красота. Онъ былъ нуженъ отчасти для того, чтобы создать картину, отчасти для того, чтобы подготовить послѣдній эффектъ.

Невольно грѣшная жена
Его величьемъ смущена,
И смотритъ робко, взоръ понизивъ;
Но, вспомня свой недавній вызовъ,
Она съ сѣдалища встаетъ,
И, станъ свой выпрямивши гибкой
И смѣло выступивъ впередъ,
Пришельцу съ дерзкою улыбкой
Фіалъ шипящій подаетъ.

Смыслъ этой сцены ясенъ и для глухого. На любой картинѣ эта поза и этотъ жестъ разскажутъ зрителю смыслъ сцены. Этотъ почти условный жестъ женскаго обольщенія и соблазна и проще и понятнѣе того ученія, о которомъ заговорила блудница. Но нужна была еще одна черта, одинъ послѣдній ударъ кисти, чтобы вполнѣ подготовить грѣшницу къ центральному драматическому эффекту.

Еще смѣялася она,
И пѣна легкая вина
По кольцамъ рукъ ея бѣжала...

И не даромъ лилось это вино: оно внесло легкую черточку безпорядочности и оргіи въ ту область, гдѣ до сихъ поръ все было почти безукоризненно-прилично. Теперь она готова для картины: знойная и насмѣшливая улыбка обнажила бѣлые зубы, подъ сквозною тканью свѣтится соблазнительное тѣло, по «кольцамъ рукъ» льется вино, и вся она дышитъ ученіемъ грѣха.

Характеризовать внѣшними чертами противоположное направленіе—дерзость; но она сдѣлана поэтомъ, и мы можемъ остановиться только на поэтическомъ образѣ, не вмѣшивая сюда данныхъ высшаго порядка.

...Съ спокойнымъ видомъ
Подходитъ къ храминѣ другой.
Въ его смиренномъ выраженьи
Восторга нѣтъ, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очеркъ дивнаго чела (?).
То не пророка взглядъ орлиный,
Не прелесть ангельской красы —
Дѣлятся на́ двѣ половины
Его волнистые власы (?);
Поверхъ хитона упадая,
Одѣла риза шерстяная
Простою тканью стройный ростъ (?);
Въ движеньяхъ скроменъ онъ и простъ;
Ложась вкругъ устъ его прекрасныхъ,
Слегка раздвоена брада (?);
Такихъ очей благихъ и ясныхъ
Никто не видѣлъ никогда.

Кто это?—Этотъ другой характеризуется у поэта или отрицательными признаками, или такими внѣшними и конкретными, которые, въ существѣ дѣла, ничего, кромѣ даннаго въ конкретѣ, и не говорятъ и говорить не могутъ. Отчего у пророка волоса не могутъ быть волнистыми и не могутъ дѣлиться на двѣ половины? Что говорятъ шерстяная риза и раздвоенная брада? Въ поэзіи всѣ эти признаки и случайны и совершенно безсодержательны. Но намъ отчасти понятна причина ихъ появленія; это—эскизъ для живописца; въ краскахъ и линіяхъ эти признаки заговорятъ, можетъ-быть, сильнымъ и колоритнымъ языкомъ, пріобрѣтутъ тотъ

возвышенный смыслъ, какого не могло имъ дать слово поэта по непригодности слова къ подобнымъ работамъ.

Чѣмъ могла бы разрѣшиться эта драматическая дилемма? Чего мы можемъ ждать на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя мы получили отъ поэта? Что сдѣлаетъ грѣшница? Какъ совершится ея обращеніе? На эти вопросы на почвѣ поэмы отвѣта нѣтъ. Поэтъ разрѣшилъ дилемму чудомъ.

... Въ ожиданьи
Сидитъ смущенное собранье,
Тревожно духъ переводя:
И онъ, въ молчаніи глубокомъ,
Обвелъ сидящихъ тихимъ окомъ,
И, въ домъ веселья не входя,
На дерзкой дѣвѣ самохвальной
Остановилъ свой взоръ печальный.

Этотъ взоръ, «какъ лучъ денницы», разогналъ «тьму» въ сердцѣ блудницы: онъ открылъ «неправду» и «ложь» ея своеобразнаго «ученія», она сознала, какъ грѣхъ, то «начало», которому служила, во всемогущество котораго вѣрила.

И вдругъ въ тиши раздался звонъ
Изъ рукъ упавшаго фіала.

Дилемма разрѣшена; фіалъ—символъ и эмблема грѣховнаго начала—выпалъ изъ рукъ и, звеня, покатился по полу; ученіе блудницы, въ упоръ поставленное противъ иного ученія, рушилось.

И все-таки мы не знаемъ, что́ происходило въ сердцѣ блудницы въ эту минуту? Что́ она вспомнила подъ вліяніемъ этого взгляда? Пронеслись ли въ ея сознаніи свѣтлыя и чистыя воспоминанія, неимѣющія ничего общаго съ грѣшною жизнью? Вспомнила ли она пройденныя ступени по лѣстницѣ грѣха, когда, можетъ-быть, спускъ бывалъ не всегда легокъ и пріятенъ? Все совершилось внезапно,—къ сожалѣнію, слишкомъ внезапно. Поэтъ еще разъ уклонился отъ того драматизма, въ которомъ слава и сила поэтическаго творчества. Чудо не стало бы менѣе чудеснымъ, если бы оно совершилось не принудительнымъ и властнымъ озареніемъ извнѣ, а тѣмъ давно и незамѣтно тлѣвшимъ огонькомъ, который теплится въ каждомъ живомъ сердцѣ. Удивительнѣе всего то обстоятельство, что истинно и глубоко-человѣчный мотивъ былъ уже данъ поэту, что не было и нужды его искать, ибо онъ каждый разъ указывается въ евангельскомъ разсказѣ, когда

дѣло идетъ о грѣшницахъ и блудницахъ. Жены, «ятыя въ прелюбодѣяніи», презрѣнныя и отверженныя дочери своего народа, изнемогали подъ тяжестью невыносимаго позора, мучительныхъ нравственныхъ страданій. Ихъ создавало то общество, которое за свой грѣхъ платило имъ безпрерывною казнью. Худшая форма жестокости, жестокость лицемѣрія и показного изувѣрства, тяготѣла надъ каждою минутой ихъ жизни. Онѣ глубоко сознавали свою грѣховность, но ихъ измученное сердце ожесточалось еще глумленіемъ тѣхъ, кто не хотѣлъ брать на себя отвѣтственности за свои же дѣянія. И въ этой тьмѣ и имъ загорается свѣтъ и имъ дается выходъ и оправданіе. Ихъ не отталкиваютъ презрительно ногой, съ ними говорятъ, вѣрятъ еще въ добрые инстинкты ихъ сердца!.. И та могучая сила, которая таилась въ глубинѣ и оскорбленнаго и наболѣвшаго сердца, обновляла организмъ, рвалась на невозможные подвиги, давала миръ разбитому сердцу. Отчего поэтъ не воспользовался этими данными исторіи? Зачѣмъ онъ заставилъ свою блудницу, гордую и властную, убѣжденную во всемогуществѣ своей красоты, стать лицомъ къ лицу, міровоззрѣніемъ къ міровоззрѣнію съ тѣмъ другомъ блудницъ и мытарей, который шелъ снять тяжелое бремя съ усталыхъ плечъ?

Рядомъ съ этимъ вопросомъ вполнѣ законно становится и другое недоразумѣніе. Зачѣмъ поэтъ, отступивъ отъ данныхъ исторіи на всемъ пространствѣ поэмы, не перешелъ въ область идеализаціи и вымысла? Онъ создалъ «приличную» блудницу; грязь нескромной профессіи къ ней почти не пристала; только легкая струйка пролитаго вина говоритъ о легкой безпорядочности ея жизни; она не будитъ брезгливаго презрѣнія; мы не удивляемся ея присутствію на пышной трапезѣ среди почетныхъ гостей. Поэтъ заботливо освобождаетъ ее отъ тѣхъ отталкивающихъ и грязныхъ подробностей, которыми обычная жизнь почти всегда награждаетъ прислужницъ порока. Зачѣмъ же онъ не уничтожилъ самой вульгарной и самой прозаической черты продажнаго разврата— золота? Зачѣмъ онъ поднялъ ее такъ высоко? Зачѣмъ не поднялъ ее выше?

Дѣйствительность была некрасива; формы восточнаго разврата, пестрыя и яркія одежды семитическихъ женщинъ— были ниже его эстетическаго вниманія; въ далекомъ прошломъ онъ искалъ красоты, а не типичности. Надо было одѣть

блудницу всѣмъ блескомъ грѣха и соблазна и напоить обольстительный образъ хмелемъ чувственности. И онъ принесъ для этого алмазы и сквозныя ткани, далъ въ руки падшей дѣвѣ фіалъ съ шипящимъ виномъ, придалъ нескромный языкъ драпировкѣ дома и складкамъ широкой одежды, показалъ изгибы стана и характерность жеста. Ему нужна была такая женщина, которая могла бы достойно носить всѣ эти черты грѣховной красоты и которая вполнѣ бы ими исчерпывалась. Идеализировать дальше опасно; тамъ языкъ позы и костюма блѣденъ; тамъ надо показать и нервы прекраснаго тѣла, открыть тайные мотивы вызова, дать почувствовать прошлое. Нивеллирующая норма подобной красоты приподняла будничные факты и пригнула идеальные образы. Середина была угадана вѣрно. Художники, которымъ скучна скромная красота дѣйствительности и недоступны серьезныя задачи искусства, съ большимъ успѣхомъ рисовали красивую женщину съ смуглыми чертами семитическаго типа, слегка закутанную въ сквозныя ткани; въ ея ушахъ серьги, въ рукѣ фіалъ, а сбоку ломится тяжелыми складками дорогая парча. Поэтъ разрѣшилъ трудную задачу популяризаціи красоты въ массѣ; его поэма—кладъ для издателей иллюстрированныхъ журналовъ, лучшее упражненіе въ декламаціи на клубныхъ и иныхъ сценахъ.

Н. Соколовъ.

«Садко», былина А. Толстого [1]).

«Въ гр. А. Толстомъ [2]),—говоритъ г. Л. въ прекрасной статьѣ, посвященной этому поэту,—поражаетъ прежде всего щегольская внѣшность, обиліе средствъ, оборотовъ, формъ, находчивость при разрѣшеніи самыхъ разнообразныхъ задачъ (?), непримѣтность усилія, и, въ связи съ этимъ, постоянная грація и изящество... Самъ онъ, вѣроятно, сознавалъ эту особенность своей натуры, вслѣдствіе чего широко пользовался ею для подражаній и переодѣваній, облекаясь поочередно то въ костюмъ итальянца XII вѣка, то въ доспѣхи русскаго богатыря, то въ черную рясу схимника (?), то, наконецъ (и рѣже всего), въ сюртукъ современнаго публициста. Оказалось, что всѣ костюмы Толстому къ лицу, что во всякомъ изъ нихъ его красивая, породистая, изящная фигура не только является привлекательною, но и производитъ полную иллюзію... Какая же внутренняя жизнь кроется подъ этою протеевски-измѣнчивою одеждой? Какая же собственная, постоянная нота звучитъ и прорывается сквозь это разнообразное попури чужихъ, мастерски-усвоенныхъ мотивовъ?» Въ конечномъ выводѣ г. Л. приходитъ къ тому выводу, что гр. А. Толстой—романтикъ.

«Романтизмъ, во-первыхъ, смотритъ на народную старину не свысока, а съ любовью и благоговѣніемъ; во-вторыхъ, старается, чтобы эта старина говорила у него не нашимъ языкомъ, а своимъ собственнымъ. У нѣкоторыхъ романтиковъ это погруженіе въ прошлое достигло того, что не только слова и конструкціи, но даже мысли, обличающія современное происхожденіе, носящія печать современной культуры, были изгнаны. Мѣстный колоритъ оказался чрезвычайно пикантнымъ и нарядным украшеніемъ. Тогда набросились

---

[1]) Н. М. Соколовъ: «Иллюзіи поэтическаго творчества».

Н. Д.

[2]) Литература и жизнь: «Голосъ», 1876 г., №№ 130 и 131.

на мѣстный колоритъ: не довольствуясь своею родною стариной, стали искать всего экзотическаго, мотивовъ испанскихъ, итальянскихъ, новогреческихъ, сербскихъ, арабскихъ, персидскихъ и индійскихъ. Это—«виртуозная» сторона дѣла романтизма, и именно эта сторона у Толстого играетъ очень важную роль. Нѣмецкіе и французскіе романтики такъ же, какъ и Толстой, хотя не всегда съ равною удачей, поддѣлывались подъ ладъ различныхъ временъ и народовъ и, вмѣсто классической лиры, бряцали на всевозможныхъ лютняхъ, гитарахъ, мандолинахъ, ребеккахъ и бандурахъ».

Итакъ, два вывода: поэтъ въ своихъ герояхъ рисовалъ себя и къ родной сторонѣ относился съ благоговѣніемъ. Намъ кажется, что эти двѣ черты поэтической техники почти никогда не живутъ въ ладу между собою; кто въ старинѣ видитъ только себя, тотъ, конечно, и мало знаетъ и мало любитъ старину. Но дѣло не въ этомъ; допустимъ, что подобное явленіе возможно. Можно ли приписать эти свойства Толстому? Относился ли «съ любовью и даже благоговѣніемъ» гр. А. Толстой къ родной старинѣ? Говорятъ ли въ его пересказѣ наши былины своимъ языкомъ?

Шопенгауэръ помогаетъ намъ разъяснить и второй вопросъ. «Великіе поэты,—говоритъ онъ,—цѣликомъ превращаются въ каждаго изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и говорятъ изъ нихъ, какъ чревовѣщатели; съ одинаковою правдой и естественностью они говорятъ и за героя и за неопытную молодую дѣвушку; таковы Шекспиръ и Гёте. Поэты второго ранга вмѣсто главныхъ дѣйствующихъ лицъ изображаютъ себя; таковъ Байронъ; второстепенныя лица часто остаются у нихъ совершенно безжизненными, какъ безжизненны у посредственностей и главныя дѣйствующія лица» [3]). Намъ кажется, что Шопенгауэръ пропустилъ еще одинъ типъ поэтовъ, дѣйствительно стоящихъ внѣ табели о рангахъ; для этихъ поэтовъ ихъ герои—почти чужіе люди; правда, поэтъ знакомъ съ ними, изучилъ ихъ манеру говорить, носить костюмъ и держать себя въ обществѣ; но между ними никогда не было интимности, никогда въ задушевной бесѣдѣ они не обмѣнялись взаимными признаніями, не подѣлились своими радостями и скорбями. Къ какому же разряду относится гр. А. Толстой?

---

[3]) Die Welt. II. 496.

Кто у поэта Садко? Развѣ это гусляръ, который нашелъ свое счастіе на берегу Ильмень-озера? Развѣ это предпріимчивый новгородскій гость, поддерживающій сношенія съ поморянами, удалыми предшественниками Ганзы? Нѣтъ, это не гусляръ, не купецъ и не новгородецъ. Для того чтобы своеобразное отношеніе гр. Толстого къ историческимъ даннымъ былины и къ ея народной основѣ было замѣтнѣе, поставимъ его историческую былину рядомъ съ «Садко» Сурикова [4]). Купеческая складка Садки у Сурикова удержана.

Распахнувъ шубу мѣха куньяго,
Разъ идетъ Садко по Новгороду;
Входитъ на́ площадь онъ торговую,
Сталъ на площади, гладитъ бороду.
Заломивъ шапку соболиную,
Предъ купцами онъ похваляется...

Сохранена у Сурикова и характерная сцена метанья жеребьевъ; крѣпко не хотѣлось богатому гостю итти на поклонъ къ морскому царю, да не приходилось спорить съ судьбою; но въ критическія минуты въ немъ проснулся старый гусляръ.

На дубовой доскѣ посадили его
И на синее море спустили;
Не взялъ Садко съ собой добра ничего,
Съ нимъ однѣ его гусельки были.

Вотъ и подводный дворецъ.

На морской глубинѣ, въ свѣтломъ царскомъ дворцѣ
Ходятъ рыбы-киты и дельфины
И сѣдые усы у царя на лицѣ
Очищаютъ отъ грязи и тины.
Съ неба солнца лучи свѣтятъ въ царскій дворецъ,
Зажигаютъ огни-изумруды;
Вотъ въ палаты царя входитъ Садко-купецъ,
За плечомъ у него звонкогуды.

Всѣ характерные штрихи былины показались гр. Толстому ненужными; въ Садкѣ ему дорого было только то, что это земное существо, привыкшее жить на сушѣ, которому поэтому на морскомъ днѣ прежде всего слишкомъ мокро. Сравнительной параллели между влажнымъ и сухимъ изъ 53 куплетовъ толстовской былины отдано 23. Конечно, мотивъ

---

[4]) Ив. Зах. Суриковъ — поэтъ-самоучка (1841 — 80 гг.).

Н. Д.

вполнѣ реальный; но, такъ какъ это единственный мотивъ почти всей первой половины былины, то реальности, по нашему мнѣнію, принесена слишкомъ богатая жертва.

... Царь, улыбаясь, ему говоритъ:
«Садко, мое милое чадо,
Повѣдай, зачѣмъ такъ печаленъ твой видъ?
Скажи мнѣ, чего тебѣ надо?
Кутья ли съ шафраномъ моя не вкусна?
Блины съ инбиремъ не жирны ли?
Аль въ чемъ непривѣтна царица-жена?
Аль дочери чѣмъ досадили?»

Что сталось съ подводнымъ царемъ? Откуда это радушіе и хлѣбосольство? Онъ ли требовалъ себѣ данью головы? Его ли призывъ смутилъ сердца отважныхъ мореходовъ? Изъ подлинной былины мы знаемъ, что морской царь былъ золъ и коваренъ; нужно было вмѣшательство св. Николы, чтобы спасти отъ его лукавства и жестокости христіанскую душу. Ужели теперь передъ нами нечистая сила? По тону и по содержанію рѣчи это скорѣе мужиковатый и добродушный балагуръ, который обращается за панибрата съ своимъ гостемъ. И Садко нисколько не обезкураженъ. Съ полушутливой и развязною почтительностью онъ отвѣчаетъ владыкѣ водъ:

«Ты гой еси, царь-государь водяной,
Морское пресвѣтлое чудо!..»

и по титулѣ критикуетъ подводные порядки, съ восторгомъ вспоминая сухія впечатлѣнія земной жизни.

«Садко, мое чадо, городишь ты вздоръ,
Земля нестерпима отъ зною,
Я въ этомъ сошлюся на цѣлый мой дворъ—
Всегда онъ согласенъ со мною.
Мой теремъ есть моря великаго пупъ,
Твой жеребій, стало-быть, свѣтелъ;
А ты непонятливъ, несвѣдущъ и глупъ,
Я это давно ужъ замѣтилъ.
Ты въ думѣ пригоденъ моей засѣдать,
Твою возвеличу я долю
И санъ водяного совѣтника дать
Тебѣ непремѣнно изволю!

Морской царь остритъ. Но за его балаганнымъ шутовствомъ скрывается серьезная сатира, лежащая въ основѣ многихъ «историческихъ балладъ» гр. Толстого. «Ты непо-

тливъ, несвѣдущъ и глупъ и поэтому пригоденъ засѣдать
› моей думѣ». Правда, едва ли старые новгородцы разсмѣя-
ись бы при этой шуткѣ; олонецкіе сказатели былинъ не
оняли бы этой ироніи. Вся соль сарказма, весь комизмъ
оложенія понятны только въ устахъ самого поэта,—зато
ишкомъ понятны. «Водяные совѣтники»—любимая тема
утки и серьезности поэта. Статскій совѣтникъ Поповъ на
ріемѣ у министра; Станиславъ на шею вожакамъ-демаго-
амъ, остроумно предложенный «Ладой въ мурмолкѣ чер-
неной»; Іоаннъ Дамаскинъ, покидавшій высокій админи-
ративный постъ ради пустыни; дьякъ у приказныхъ
ротъ,—все это аккорды одной мелодіи. Не даромъ поэтъ
ываетъ:

Ой, кабы приказныхъ по́ боку, да къ чорту!

ко многимъ сторонамъ нашей старо-русской жизни поэтъ
одошелъ съ мѣркой чиновничьей безтолковщины, посмо-
рѣлъ на нихъ сквозь призму московской ябеды. Назло пре-
рѣнной бюрократіи онъ сталъ пѣвцомъ кіевскихъ дружин-
иковъ и новгородскаго колокола. Положительныя черты
бщественнаго и государственнаго уклада въ великокняже-
комъ Кіевѣ ускользнули отъ его вниманія. Въ дружинной
вѣчевой старинѣ плѣняли его воображеніе больше всего
юди артистической складки: то пѣвцы, какъ Алеша Попо-
вичъ, то кіевскіе донъ-жуаны, какъ Дюкъ Степанычъ и Чу-
ила Пленковичъ, то лихіе танцоры, какъ Потокъ-богатырь.

Правда, онъ пускаетъ вмѣстѣ съ Добрынею-богатыремъ
трѣлу въ змѣя Тугарина, приплывшаго отъ Чернаго моря;
равда, вмѣстѣ съ княземъ Владимиромъ онъ пьетъ

... За варяговъ, за дѣдовъ лихихъ,
Кѣмъ русская сила подъята,
Кѣмъ славенъ нашъ Кіевъ, кѣмъ грекъ пріутихъ,
За синее море, которое ихъ,
Шумя, принесло отъ заката?..

Но всѣ эти Гаральды-саксонцы, Гаральды-варяги, Га-
льды-морскіе разбойники, всѣ отзвуки поморской славы,
акъ Боривой и Ругевитъ,—случайные гости поэта, а не его
олитическіе друзья и единомышленники. Сквозь намеки
ружиннаго эпоса рѣжутъ глазъ парчи и аксамиты Византіи,
орсунскія накидки и иконы мусійскаго дѣла на золотомъ
онѣ. Пѣвецъ кіевской дружины и новгородскаго вѣча, поэтъ

[illegible]

[illegible] берегъ и «подражаетъ русскимъ [illegible] и «чуръ» по [illegible] въ этой эпохѣ, мы еще увидимъ; [illegible] отлично бралъ сюжеты изъ этой жизни, [illegible] онъ не находилъ ненавистныхъ ему [illegible] [illegible] ужасъ въ этой-то бывшей антибыли [illegible] [illegible] Если поэтъ хоть [illegible] относящуюся къ даннымъ былинамъ, онъ [illegible] и неловкимъ словомъ; если онъ рисовал[illegible] не понялъ въ цѣлъ: не надъ новгородцемъ [illegible] совѣтниками».

Въ отвѣтъ на странную шутку водяного [illegible] затянулъ свою безконечную сказку о [illegible] «Совершенно случайно» онъ упоминаетъ о [illegible] хотѣлъ бы цѣловать «и въ очи, и въ темя, [illegible] было вполнѣ достаточно для того, чтобы [illegible] шелъ къ сватовству:

> Зачѣмъ тебѣ грязнаго пса цѣловать,
> На то мои дочки пригоднѣй.

Въ подлинной былинѣ сватовство стоит[illegible] вой пляски царя, какъ послѣдняя попыт[illegible] водою новгородскаго гусляра; тамъ этому м[illegible] съ одной стороны, трогательный и христ[illegible] а съ другой — какое-то таинственное знач[illegible] миѳологіи; все это вноситъ въ былину стр[illegible] и вполнѣ понятный смыслъ. Зачѣмъ же [illegible] эта перестановка? Что онъ выигралъ ею? [illegible] лишилъ себя возможности просто и естес[illegible] центральному событію—пляскѣ.

О свадьбѣ твоей потолкуемъ ужо,
Теперь же сыграй плясовую...

Какъ же ведется сватовство?

Воистину, чѣмъ бы ты имъ не женихъ?
Я вижу, хоть въ усъ и не дую,
Пошла за тебя бы любая изъ нихъ—
Бери жъ себѣ въ жены любую!

Если поэтъ имѣлъ въ виду упростить водяного царя до взбалмошнаго самодура, дѣйствующаго зря и болтающаго пустяки, онъ достигъ своей цѣли. Къ сожалѣнію, въ данную минуту подъ его руками ломался любимый мотивъ народной поэзіи; соблазнъ жениться на царевнѣ — великій соблазнъ для сказочныхъ искателей приключеній; царевны красивы, а ихъ отцы жестоки и злы. Сколько богатырей и витязей погибало въ сказкахъ ради такихъ царевенъ! Смыслъ подобнаго искушенія такъ простъ и глубокъ, что народное творчество всегда охотно вплетало его въ свои фабулы. Что же осталось отъ этого мотива здѣсь? Ничего. Песъ Садки навелъ царя на мысль объ его дочеряхъ? Зачѣмъ ему нужно женить гусляра? Только потому, что онъ «чѣмъ бы» не женихъ? Да кто это, царь былины или шальной купецъ изъ Островскаго?

Ты гой еси, царь-государь водяной,
Морское пресвѣтлое чудо!
Боюся, отъ брака съ такою женой
Не вышло бъ душѣ моей худо.

Резонъ благочестивый! Въ подлинникѣ религіозность гусляра пріурочена не къ этому моменту. Поэтъ ни однимъ словомъ еще не обмолвился, что мы имѣемъ дѣло съ злою, нечистою силой. Откуда же эта боязнь Садки за свою душу? И убѣдителенъ ли такой резонъ для водяного? Удобно ли пускаться въ благочестивыя препирательства съ пресвѣтлымъ чудомъ? Эта щепетильность на морскомъ днѣ, въ теремѣ нечистой силы, куда Садко и явился жертвою, во всѣхъ отношеніяхъ неправдоподобна. Неумѣстность такого мотива для отказа отъ лестнаго предложенія значительно оттѣняется еще и тѣмъ, что рядомъ съ нимъ стоитъ другое, слишкомъ яркое и до ненужности откровенное возраженіе противъ подобнаго брака.

Не спорю, онѣ у тебя хороши,
И цвѣтъ ихъ очей изумрудный,

Но только колючи онѣ какъ ерши,
Намъ было бъ сожительство трудно.

Реально и выпукло. Простъ царь морской, когда хочетъ сбыть такой сомнительный товаръ смѣтливому новгородцу. Съ новгородскою простотой и цинизмомъ и отвѣчаетъ изворотливый женихъ.

Этотъ эпизодъ у Сурикова обработанъ гораздо ближе къ подлинному тексту былины. Садко оборвалъ струны. Царь въ гнѣвѣ, но онъ не забылъ своей главной цѣли — погубить христіанскую душу.

Дѣлать нечего, вижу, — вина не твоя,
А хотѣлось еще поплясать бы,
Ужъ утѣшилъ бы всѣхъ своей пляскою я,
А особенно въ день твоей свадьбы:
За игру твою, Садко, хочу наградить:
За большую услугу такую
Я хочу тебя, Садко, на дочкѣ женить,
Изъ царевенъ облюбишь какую.

Сватовство ведется иначе. Садкѣ труднѣе отказаться отъ водяной жены. Отказа отъ него и не ждутъ, а предлагаютъ только выборъ, да и выборъ-то только для вида: всѣ дочки на одну стать. Положеніе настолько критическое, что спасти изъ него можетъ только сверхъестественное вмѣшательство, таинственное и магическое средство, способное разрушить коварные замыслы нечистой силы. Надо не переспорить, а перехитрить свата.

Нѣтъ ужъ, батюшка-царь, не изволь награждать,—
Награжденье твое — мнѣ кручина,
Мнѣ царевна морская женой не подстать,—
Я простой новгородскій людина.
Для простого людина мнѣ честь велика
Взять женою царевну морскую.
Подопью иногда, раззудится рука—
Ни за что твою дочку отдую...
Царь, мнѣ надо жену вотъ такую бы взять,
Чтобы съ ногъ сапоги мнѣ снимала,
Какъ побью иногда, чтобы стала молчать,
Говорить предо мной не дерзала.

Дока на доку нашелъ. Предложеніе отклонено очень дипломатично. Сердиться морскому царю не на что: женихъ самъ кается въ своей простотѣ и русскихъ замашкахъ. Но это не циничный мужикъ, который грубитъ и говоритъ дер-

ги своему царственному хозяину. Даже самъ благодуш-
й и необидчивый царь Толстого, наконецъ, разсердился
гостя.

Садко, мое чадо, ужъ очень ты грубъ,—

адался и онъ, далеко не блиставшій утонченностью и
ществомъ рѣчи и манеръ. Посуливъ своему гостю пинка,
ь чувствуетъ веселье «въ утробѣ» и свѣжесть на печени.
его обрадовало — неизвѣстно, но только онъ хочетъ пля-
ь. Неизвѣстно, почему изъ всѣхъ забавъ въ данную ми-
у онъ остановился именно на танцахъ. Но на этотъ разъ
адко не осмѣлился схватиться съ нимъ зубъ-за-зубъ и за-
алъ «плясовую». Какъ же играетъ знаменитый гусляръ?
царилъ Садко по струнамъ трепака (?), самъ къ чорту
етъ царскую ласку», «съ досады быстрѣй онъ играетъ»,
ститъ», «играетъ шибче, осерча, сжавъ зубы и нахмуря
ви», «злится, дергаетъ струны съ плеча», «отчаяннѣй бьетъ
ернями». Вотъ и все. А гусли когда-то сослужили ему до-
ю службу. Ими онъ нажилъ себѣ богатство; ими же плѣ-
ъ и водяного царя. По всему ходу былины, игра Садки—
нъ изъ самыхъ существенныхъ моментовъ фабулы. У Су-
ова онъ играетъ такъ:

Садко руку отвелъ — замираетъ струна,
Звуки тихіе чуть издавая;
Надъ морской глубиной улеглася волна,
Передъ солнцемъ горя и сверкая.
Точно муха, кружась, зацѣпляетъ струну,
Точно мошки, жужжа, гдѣ-то вьются,
Точно капли дождя тихо бьютъ о волну,
Звуки стройные, чудные льются.
Точно кто-то рыдая, глубоко скорбитъ
О потерянномъ счастьѣ когда-то,
Точно тихая рѣчь чья-то грустно звучитъ
О погибшей любви безъ возврата.
И подъ звуки игры у морского царя
Голова наклонилась сѣдая;
Хороша, какъ поутру на небѣ заря,
Загрустилась царица морская.
Ей припомнился Новгородъ вольный, родной,
Ея дѣвичья вышка-свѣтлица,
Что стояла надъ Волховомъ, быстрой рѣкой,
И рыдаетъ морская царица.
Загубилъ ея вѣкъ — золотые деньки
Сынъ боярскій, свѣнчавшись съ другою;

Она бросилась въ Волховъ-рѣку отъ тоски,
Да и стала царицей морскою.
И придворные всѣ, ротъ разинувъ, ревутъ,
Точно горе какое стряслося,
И изъ рыбьихъ ихъ глазъ слезы льются, текутъ:
Всласть впервой имъ поплакать пришлося.
Садко дернулъ плечомъ и кудрями тряхнулъ—
И забѣгали пальцы быстрѣе,
И отъ струнъ побѣжалъ одуряющій гулъ.
Звуки льются живѣй и живѣе.
Точно дождикъ шумитъ, точно скачетъ волна,
Ударяясь о берегъ скалистый;
Зазвенѣла морская кругомъ глубина,
Понеслись гоготанье и свисты.
Ошалѣлъ царь морской...

Да, это — волшебныя гусли. Онѣ подняли бурю въ душѣ царя, и — море заходило. Царь не хотѣлъ плясать во что бы то ни стало; онъ только подчинился чарамъ музыки. Толстой не слушалъ этихъ гуслей; онъ во всѣ глаза смотрѣлъ на «трепакъ» водяного царя, а для этого бѣшенаго танца музыка была, конечно, дѣломъ почти второстепеннымъ.

... Царь, ухмыляясь, уперся въ бока,
Готовится, дрыгая, въ пляску.
Сперва лишь на мѣстѣ поводитъ усомъ,
Щетинистой бровью киваетъ;
Но вотъ запыхтѣлъ и надулся, какъ сомъ,
Все болѣ его разбираетъ.
Похаживать началъ, плечьми шевеля,
Подпрыгивать мимо царицы,
Да вдругъ какъ пойдетъ выводить вензеля,
Такъ всѣ затряслись половицы [1]).
Пустился навывертъ пятами мѣсить,
Закидывать ногу за ногу.
Откуда взялася, подумаешь, прыть!
Глядѣть индо страшно, ей-Богу.
Бояре въ испугѣ ползутъ окарачь,
Царица присѣла ажъ на́ полъ,
Пищатъ инъ царевны, а царь себѣ вскачь
Знай чешетъ ногами оба́-полъ.
То, выпятя грудь, на придворныхъ онъ претъ,
То, скорчившись, пятится бокомъ,
Ломаетъ колѣнца и взадъ и впередъ,
Валяетъ загребомъ и скокомъ.

[1]) Половицы — въ хрустальномъ дворцѣ, подъ водою!

Въ присядку понесъ его чортъ ходуномъ,
Онъ фыркаетъ, пышитъ и дуетъ...

Поэтъ глазами любителя слѣдитъ за «вензелями» и «колѣнцами» трепака. И въ настоящей былинѣ пляска водяного царя поставлена въ связь съ бурей на морѣ; но поэтъ идетъ дальше и постарался провести полную аналогію между сложностью «вывертовъ» и силою волненія. Царь началъ «выводить вензеля», и въ его хрустальномъ дворцѣ затряслись половицы (это-то бываетъ почти всегда, когда пляшетъ подвыпившій мужикъ на живыхъ половицахъ своей избы). Онъ «мѣситъ пятами» и «закидываетъ ногу за ногу», и присутствующими овладѣваетъ ужасъ. Его «колѣнца выходятъ круче», и въ теремѣ становится темно, тучи собираются надъ моремъ. Онъ пустился «вприсядку», и «отъ подстѣнья» пошли пузыри, домъ зашатался, море заревѣло, и корабли пошли ко дну. Ужасный «трепакъ»! Отъ его размашистости

дальними грянулъ раскатами громъ,
Сверкнуло въ пучинномъ просторѣ,
И огненнымъ свѣтомъ зардѣла кругомъ
Глубокая празелень моря.

Но если всмотрѣться въ колѣнца трепака, пляска водяного царя, въ сущности, не имѣетъ въ себѣ ничего опаснаго и таинственнаго. Вензеля, колѣнца, присядка—все это можно видѣть въ любой деревнѣ, и тамъ все это обходится вполнѣ благополучно. Все фантастическое и отъ личности, и отъ пляски водяного царя отнято, а стихійныя послѣдствія пляски сохранены. Причины только забавны (въ комъ возбудитъ опасенія трепакъ?), а результаты слишкомъ серьезны (гибнутъ пловцы съ кораблями).

Чѣмъ же разрѣшается трагическое положеніе? Въ подлинномъ текстѣ и у Сурикова въ дѣло вмѣшивается св. Никола.

— Перестань на звончатыхъ ты гусляхъ играть,—
Говоритъ ему старецъ сурово:—
Нечестно́ православной душѣ потѣшать,
Не пригоже — царя водяного.

У Толстого развязка происходитъ совершенно неожиданно. Мы все видѣли, что Садко сердится, сжимаетъ зубы, хмуритъ брови и всячески хочетъ досадить подводному плясуну. И вдругъ, ни съ того ни съ сего, «въ немъ сердце исполнилось жали».

Споткнувшись на мѣстѣ, сталъ царь водяной,
Ногою подъятой болтая.

Этой живою картиной и завершается подводная драма. Получивъ «чешуйнымъ плесомъ» (а это украшеніе плясать царю не мѣшало?) хорошаго раза́ «въ потылицу», Садко «кубаремъ» вылетѣлъ въ Новгородъ. Но новгородскіе гости не повѣрили его разсказу; онъ слишкомъ ужъ быстро летѣлъ съ морского дна и не захватилъ съ собою «сорокъ бочекъ казны — награжденье царя водяного», чѣмъ дарила его подлинная былина; будь съ нимъ этотъ подарокъ, новгородскіе купцы открыли бы ему больше кредита. Только зачѣмъ эта страничка? Не хочетъ ли заключительными куплетами гр. А. Толстой объяснить происхожденіе легенды о Садкѣ? Не думаетъ ли онъ, что эта жизненная былина новгородскаго цикла сложилась изъ фантастической болтовни присяжнаго гусляра за пьянымъ столомъ?

Подведемъ итоги. Изъ старинной былины поэтъ беретъ: 1) мокрое подводное царство въ противоположность сухой землѣ (23 куплета); 2) сватовство (7 куплетовъ); 3) подводный трепакъ съ его неожиданнымъ финаломъ (18 куплетовъ), и 4) возвращеніе Садки въ Новгородъ (5 куплетовъ). Какъ же связаны эти обрывки искалѣченной былины? 1) «На кую ты стать о псѣ вспоминаешь?»; 2) «Потолкуемъ ужо, теперь же сыграй», и 3) хватилъ «въ потылицу». Нельзя сказать, чтобы связующія нити были крѣпки. Такъ, любители анекдотовъ, по одному случайному слову припоминая новый перлъ юмора, связываютъ его традиціоннымъ—«а то вотъ еще».

Что же сталось съ былиной? Вдохновился ли поэтъ любовью и благоговѣніемъ къ старинѣ? Увлекся ли онъ «мѣстнымъ колоритомъ»? Говоритъ ли у него старина своимъ языкомъ? Да, «вящшіе уличане», «степенный посадникъ», «тысяцкій», «кончанскіе старосты», «Балты», «веницейскій стаканъ», «браная скатерть», «кутья съ шафраномъ», «блины съ инбиремъ»—все это слова старины. И рядомъ съ ними—«вензеля», «трепакъ», «ей-Богу», «вприсядку понесъ чортъ ходуномъ» и, въ особенности,—«водяные совѣтники». Невольно напрашивается догадка, что это—карикатура. Но въ подлинной былинѣ нѣтъ ничего достойнаго вышучиванія, а осмѣивать свои собственные образы, по меньшей мѣрѣ,

:ранно; да въ карикатурѣ не могло бы быть и порывовъ ıчнаго лиризма поэта въ родѣ «сверкающей празелени».

Что же значитъ этотъ поэтическій ребусъ? Зачѣмъ все ıнтастическое въ поэмѣ сведено къ вульгарной реальности? ıчѣмъ отброшено все новгородское въ Садкѣ и все подвод- ıе и царственное во владыкѣ водъ? Не попытка ли это ;азать мужицкой поэзіи ея истинное мѣсто?

Въ манерѣ творчества замѣтны почти тѣ же пріемы, ко- рые мы видѣли и въ «Грѣшницѣ»: все показывается ;азу; драматизмъ изгоняется; мѣстный колоритъ замѣняется ѕмъ-то другимъ. Но велико и различіе; тамъ мы видѣли, .къ создается красивое, здѣсь—забавное; не комическое, не : сатирическое, а только забавное; тамъ поэтъ боялся :ожности идеальнаго типа и скромности будничной обста- ıвки, здѣсь онъ беретъ экспрессіей реализма. И его бы- ıна гораздо популярнѣе, чѣмъ «Садко» Сурикова.

Н. Соколовъ.

«Василій Шибановъ», баллада А. Толстого [1]).

За послѣднее время все чаще, все настойчивѣе выдвигается нашею журналистикой одинъ неновый и соблазнительный афоризмъ. Критика не сумѣла оцѣнить поэта; она отнеслась къ данному произведенію придирчиво и односторонне; но ошибка была исправлена публикою, этимъ державнымъ младенцемъ, который раздаетъ лавровые вѣнки по-своему; и періодическая критика спѣшитъ исправить свой промахъ и оцѣнить незамѣченные шедевры. Очевидно, вѣсы круто опускаются въ сторону, противоположную той, на которой стояли «поэты Божіею милостію», по выраженію Гейне.

Nur dem Gotte steht er Rede,
Nicht dem Volke. In der Kunst,
Wie im Leben, kann das Volk
Tödten uns, doch niemals richten.

Времена перемѣнились; послѣдняя рѣшающая инстанція въ искусствѣ — Volk, который умѣетъ отстоять и возвеличить своихъ любимцевъ. У гр. А. Толстого есть одно, вопреки всякой критикѣ, удивительно популярное стихотвореніе, безъ котораго не обходится ни одна хрестоматія; его учатъ наизусть и излагаютъ своими словами классики и реалисты; его комментируютъ всѣ учителя русской словесности; оно стоитъ внѣ полемики, какъ драгоцѣнное достояніе школы. Что уже и говорить о восторгѣ иллюстрированныхъ изданій? Мы говоримъ о Шибановѣ.

Шибановъ молчалъ. Изъ пронзенной ноги
Кровь алымъ струилася токомъ,
И царь на спокойное око слуги
Взиралъ испытующимъ окомъ.
Стоялъ неподвижно опричниковъ рядъ;
Былъ мраченъ владыки загадочный взглядъ,
Какъ-будто исполненъ печали...

---

[1]) Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтическаго творчества».

О, если бы поэтъ остановился на этой строфѣ! Всѣ историческіе ужасы эпохи Грознаго уже намѣчены; рабъ-герой смотритъ въ загадочныя очи царя Ивана; мы бы пытались угадать, какой неожиданный капризъ вырвется изъ мрачной и жесткой души московскаго владыки. Мы бы оцѣнивали героизмъ «рабской вѣрности». Мы бы угадывали мысль Грознаго — «ты не рабъ, а товарищъ и другъ». И холопъ, другъ опальнаго воеводы, доказавшій, что его душа не слаба, ярко вставалъ бы передъ нашимъ умственнымъ взоромъ. Между княземъ Андреемъ и его стремяннымъ, внѣ сомнѣній, стояла бы полная солидарность, сознательное общеніе «въ собачей измѣнѣ», та гармонія отношеній, гдѣ рабъ и господинъ составляютъ одно цѣлое. Критика могла бы борчать на апоѳеозъ рабства, но историческая правда была бы на сторонѣ поэта и спасала бы его образъ отъ тенденціозныхъ и узкихъ обвиненій. Но поэтъ, по своей привычкѣ, не захотѣлъ завязать послѣдній узелъ драматизма на той высотѣ, которая доступна живымъ людямъ, гдѣ еще нѣтъ натяжки. Ему было мало раба-героя; онъ думалъ о рабѣ-мученикѣ и рабѣ-подвижникѣ.

Да, ястребиное око царя Ивана Васильевича на этотъ разъ ему измѣнило. Случайный «досадитель свѣтлой короны»—не другъ и, въ особенности, не товарищъ опальнаго князя; онъ не повиненъ въ собачьей измѣнѣ.

О, князь, ты, который предать меня могъ
За сладостный мигъ укоризны,
О, князь, я молю, да проститъ тебѣ Богъ
Измѣну твою предъ отчизной.

Это рабъ, глубоко понимающій жестокій эгоизмъ своего господина! Холопъ прощаетъ своего князя за то, что князь его «предалъ». Пусть такъ; пусть высоко стоитъ смиреніе и всепрощеніе стремяннаго; но на его языкѣ слово «предательство»—это ужъ судъ надъ княземъ и его осужденіе. Другъ не такъ сводилъ бы свои личные счеты съ господиномъ. Нѣтъ, грозный царь, это не другъ и не товарищъ,—это только великодушный рабъ. Но и этого мало. Между рабомъ и господиномъ есть недоразумѣніе и посерьезнѣе этого. И для холопа выше князя—отчизна, и для него отъѣздъ въ Литву и письмо къ Грозному—измѣна родинѣ.

За грознаго, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь!..

Конечно, это не пыточныя рѣчи; заплечные мастера не вырвали бы «въ предсмертный часъ» малодушной молитвы изъ души того, кто спокойно стоялъ подъ костылемъ Грознаго. Здѣсь, очевидно, задушевныя убѣжденія всей жизни; здѣсь отождествляется родина съ грознымъ царемъ; дерзновенныя слова и боярскій отъѣздъ—съ измѣною; въ борьбѣ царя съ боярствомъ Шибановъ не на сторонѣ своего господина. Холопство принимаетъ новый оттѣнокъ; въ застѣнкѣ мучится рабъ-гражданинъ, доблестно исповѣдывающій свои политическія воззрѣнія. Пусть же художники, увлеченные этимъ сюжетомъ, покажутъ намъ, съ какимъ страстнымъ вѣрноподданическимъ чувствомъ смотрѣлъ Шибановъ въ очи царя, пронзившаго жезломъ его ногу; пусть они нарисуютъ намъ, съ какимъ затаеннымъ негодованіемъ входитъ онъ въ литовскій шатеръ измѣнника-князя.

Такъ умеръ Шибановъ стремянный!

Да, такъ безсмысленно умеръ рабъ въ самомъ рабскомъ смыслѣ этого слова, человѣкъ, промѣнявшій отчизну на холопскую угодливость, своего законнаго владыку—на измѣнника, вѣрный рабъ чужой неправды и насильникъ надъ своею совѣстью! Допустимъ невозможное предположеніе. Рабы-германцы въ римскихъ легіонахъ иногда ходили войною на своихъ соплеменниковъ: сзади ихъ были розги ликторовъ и мечи ветерановъ; и вдругъ сенатъ узнаетъ, что часть германскихъ рабовъ motu proprio составила отдѣльную когорту для войны съ своими отцами и братьями, чтобы угодить своимъ господамъ и доказать имъ свою «рабскую вѣрность». Неужели и этотъ «подвигъ» поэтъ увѣнчалъ бы своимъ восторгомъ?

Добродѣтелей у Шибанова много: рабская вѣрность, полная самоотверженія; мужество, доходящее до героизма; патріотизмъ, запечатлѣнный смертью; но не два-ли здѣсь Шибанова, которые другъ съ другомъ не имѣютъ ничего общаго? Попробуемъ примирить ихъ. Допустимъ, что Шибановъ не зналъ содержанія письма Курбскаго и только дьяки открыли ему глаза. Но онъ зналъ, что его ждутъ муки; послѣ этого письма онъ спокойно смотритъ на Грознаго и въ застѣнкѣ славитъ своего господина. Декламація учащихся юношей, конечно, будетъ полна серьезности и торжественности, ибо эти тоны, несомнѣнно, звучатъ и въ мелодіи поэта; подвигъ плѣняетъ молодое воображеніе; не до анализа молодой мысли,

обвѣянной высокими чувствами и величавыми образами. Но въ свое время звучныя строфы откроютъ затаенную въ нихъ неправду; вдумчивость покажетъ, что здѣсь красота только плотный покровъ, скрывающій подъ собою невозможную схему. Бѣдныя дѣти!.. Тамъ, гдѣ рабство враждуетъ съ любовью къ родинѣ, поэтъ однимъ порывомъ вдохновенія идеализируетъ и инстинкты рабства и самоотверженность гражданина. Хорошій рабъ и скверный гражданинъ въ ореолѣ мученичества, подвижникъ холопской вѣрности и пособникъ государственной измѣны, полу-герой и полу-змѣя, не то орелъ, не то амфибія, — вотъ трудный ребусъ для художника, который отдаетъ свою кисть эскизамъ Толстого! Но кисть замажетъ всѣ противорѣчія и щегольнетъ иными эффектами!..

Н. Соколовъ.

«Іоаннъ Дамаскинъ», поэма А. Толстого [1]).

Іоаннъ Дамаскинъ — одно изъ «идейныхъ» стихотвореній гр. А. Толстого; въ немъ много своеобразной «философіи, заслуживающей самаго пристальнаго вниманія; въ свое время мы попытаемся прослѣдить характерныя черты этой философіи; теперь же остановимся только на фабулѣ поэмы, на тѣхъ узлахъ, которыми стянуты отдѣльныя сцены сюжета. Знаменитый христіанскій богословъ и поэтъ во главѣ мусульманской, арабской, администраціи—сюжетъ въ высшей степени благодарный для поэта [2]). Открывается широкій просторъ для творческой фантазіи. «Мѣстный колоритъ» блещетъ яркими красками. Въ конюшняхъ Дамаска еще не успѣли отдохнуть тѣ кони, на которыхъ мчались вожди ислама, съ мечомъ въ рукахъ проповѣдуя Коранъ и пророка. Передъ бѣшенымъ ураганомъ воинствующаго религіознаго фанатизма все дальше и дальше отступали «историческіе народы», пропуская подъ благодатное небо Испаніи мавританскій стиль. Съ улыбкой на губахъ умирали смуглые воины, ожидая себѣ въ награду рай съ его гуріями. Народъ меча и молитвы осѣдалъ широкими калифатами, и сбывалась мечта всемірнаго магометанскаго владычества. Чѣмъ же Іоаннъ изъ Дамаска пріобрѣлъ мѣсто верховнаго визиря? Какъ же визирь-христіанинъ мирилъ свой богословскій талантъ и свое христіанское вдохновеніе съ началами исламизма? Съ кѣмъ воевалъ онъ «во главѣ мусульманскихъ дружинъ»? Въ чемъ состояла та «мудрость», ко-

[1]) Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтическаго творчества».

[2]) Іоаннъ Дамаскинъ — церковный писатель VIII вѣка. Онъ былъ приближеннымъ калифа (намѣстника) дамасскаго. Дамаскинъ ревностно распространялъ христіанство. Христіанство рано распространилось въ Дамаскѣ (здѣсь принялъ его апостолъ Павелъ). Въ 635 г. Дамаскъ завоеванъ арабами, а раньше принадлежалъ Риму. Послѣ этого Дамаскъ сталъ управляться намѣстниками.

Н. Д.

торою былъ «могучъ и славенъ» Дамаскъ? Какой просторъ для творчества! Сколько элементовъ драмы! Но поэтъ не здѣсь завязалъ главный узелъ интриги. Легкою чертой онъ отмѣтилъ борьбу съ иконоборческой ересью и все свелъ къ бюрократическому «сану, величію, пышности, власти и силѣ».

Его поставилъ властелинъ
И судъ рядить, и править градомъ;
Онъ съ нимъ бесѣдуетъ одинъ,
Онъ съ нимъ сидитъ въ совѣтѣ рядомъ.

И благодушный калифъ, въ порывѣ удивительнаго великодушія, обѣщаетъ христіанину еще больше.

Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мнѣ мой братъ единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!

Удивительная щедрость! Христіанинъ становится кади и визиремъ и въ «хазаватѣ» ведетъ арміи ислама. Мусульманинъ отдаетъ христіанской мудрости своего любимаго раба, всѣ функціи государственной власти и готовъ сдѣлать Іоанна фактическимъ калифомъ, оставивъ себѣ только титулъ! Съ наивнымъ простодушіемъ и лаконизмомъ старой сказки даются изумительно-своеобразныя событія; подъ ними трудно угадать дѣйствительность болѣе драматичную, чѣмъ всѣ вымыслы поэтовъ. Самый ординарный человѣкъ, судьба котораго была бы полна такими же почти сказочными превратностями, привлекъ бы къ себѣ все наше вниманіе. Но дѣйствительность сложнѣе любого вымысла; Дамаскинъ и самъ по себѣ выдающаяся, талантливая и оригинальная личность. Угадать здѣсь правду, дать живого человѣка въ этихъ исключительныхъ условіяхъ, не побояться щекотливыхъ и соблазнительныхъ подробностей — задача, достойная глубокаго мыслителя и чуткаго поэта. Но и удачно обойти щекотливую тему—дѣло недюжинной ловкости; не всякій архитекторъ искусно скроетъ отъ бдительнаго контроля широкую трещину въ капитальной стѣнѣ; не всякій лоцманъ проведетъ судно между скалъ и подводныхъ камней у чужого берега. Гр. А. Толстой блестяще выполнилъ необыкновенно трудную задачу; ему помогли въ этомъ случаѣ эффектныя, ослѣпительныя чувства. Широкій размахъ рыцарскаго величія и благородства оставилъ въ тѣни весь

«мѣстный колоритъ»; уничтожилъ въ калифѣ все арабское, и осталась только схема, возможная подъ всякимъ небомъ и во всякое время. Высокопоставленный чиновникъ, влекомый «инымъ призваніемъ», и государь, желающій сохранить при себѣ мудрость своего сановника,—вотъ обнаженныя линіи рисунка.

Судьба дворца дамасскаго правителя гораздо драматичнѣе.

Окружены его дворцы
Благоуханными садами;
Лазурью блещутъ изразцы;
Убраны стѣны янтарями;
Въ полдневный зной пріютъ и тѣнь
Даютъ навѣсы, шелкомъ тканы;
Въ узорныхъ баняхъ ночь и день
Шумятъ студеные фонтаны.

Но скоро среди людного Дамаска узорныя бани превратились въ живописныя руины.

И вотъ, правителя дворцы
Добычей сдѣлались забвенья,
Одѣлись пестрые зубцы
Травой и прахомъ запустѣнья...
Въ хоромахъ стѣны и картины
Давно затканы паутиной,
И мхомъ фонтаны заросли;
Плющи, ползущіе по хорамъ,
Отъ самыхъ сводовъ до земли
Зеленымъ падаютъ узоромъ,
И макъ спокойно полевой
Растетъ кругомъ на звонкихъ плитахъ,
И вѣтеръ, шелестя травой,
Въ чертогахъ ходитъ позабытыхъ.

Если бы эти дворцы хранились подъ лавою Везувія, вдали отъ людского хищничества, то и тогда едва ли получилась бы такая выдержанная и законченная картина «запустѣнья». Да, здѣсь художнику легче нарисовать «навѣсы, шелкомъ тканы» и зеленый узоръ плюща, чѣмъ правителя Дамаска, если только его не представлять съ кривымъ ятаганомъ и въ чалмѣ.

Правитель ушелъ изъ своихъ чертоговъ. Что же онъ унесъ съ собою изъ мусульманскаго Дамаска? Что осталось въ его душѣ отъ блестящей роли во главѣ арабской администраціи? Ничего; онъ оставилъ дѣла своего министер-

тва, какъ чиновникъ, который прежде всего радъ отпуску, ;акъ-будто бы это были безразличныя и механическія заня-ія, не затрогивающія души и личныхъ убѣжденій. Это не ıеловѣкъ, а пѣвецъ, который радъ, что вырвался изъ канце-ıяріи.

Переходомъ къ другой характерной картинѣ фабулы слу-кить «святая буря пѣснопѣнья», которая настигла путника ıа одинокой тропинкѣ. На этой тропинкѣ сознаніе поэта ыло занято роковыми и мучительными вопросами.

Какія мнѣ воспѣть дѣла?
Какія битвы или войны?
Гдѣ я для дара моего
Найду высокую задачу,
Чье передамъ я торжество,
Иль чье паденіе оплачу?

Значитъ, у пѣвца еще не было готовыхъ сюжетовъ для цохновенія, когда онъ подавалъ свою просьбу объ отставкѣ алифу? Онъ говорилъ тогда не во имя любимыхъ образовъ цохновенія, которые убѣдили его въ его дарованіи и въ номъ призваніи, а во имя пѣснопѣнія вообще, пѣснопѣнія ь принципѣ, внѣ опредѣленныхъ и субъективныхъ осо-ıенностей?

Куда же идетъ нищій пѣвецъ?

Чертой изогнутой легло
Предъ нимъ Кедронскаго потока
Давно безводное русло.

Тамъ — бреговъ сожженныя стремнины

На дно сбѣгаютъ крутизной,
Спирая узкую долину
Двойной отвѣсною стѣной.

Тамъ видны странника очамъ

Въ утесахъ рытыя пещеры.

Тамъ возведена

Изъ камней крѣпкая стѣна,
Отпоръ степному сарацыну.
... И тамъ, въ вышинѣ,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется въ небѣ; на легкомъ конѣ
Появится всадникъ; надъ самымъ оврагомъ
Сдержавъ скакуна запѣненнаго летъ,
Проѣдетъ онъ мимо обители шагомъ,
Да инокамъ сверху проклятье пошлетъ.

Это — обитель отшельниковъ Кедронскаго потока. Конечно, это не простая обитель и не обычные отшельники. Мохнатая пика надъ оврагомъ и каменная стѣна съ бойницами предсказываютъ намъ особенный типъ иноковъ-бойцовъ, умѣющихъ дать отпоръ степному сарацыну. Но для поэмы всѣ эти штрихи положительно не нужны; въ фабулу они не вносятъ ничего существеннаго; то, что случилось съ Дамаскинымъ, не нуждалось въ боевыхъ условіяхъ кедронской обители.

Держать посты уставы намъ велятъ,
Служенья жъ мы не вѣдаемъ иного,—

могъ бы сказать любой монахъ изъ любого монастыря. Сущность данной аскетической жизни наиболѣе полно выражена въ наставникѣ Іоанна, суровомъ черноризцѣ. Кто же онъ, этотъ строгій инокъ?

Согнувши строгое чело,
Онъ, чуждый міру, чуждый братьямъ,
Лежитъ простертъ передъ распятьемъ;
Въ пыли сѣдая голова,
И смерть къ себѣ онъ призываетъ,
И шепчетъ мрачныя слова,
И камнемъ въ перси ударяетъ...

Таковъ въ своей кельѣ этотъ непреклонный блюститель монастырскаго устава. Какія же мрачныя слова онъ шепталъ? Отчего они были мрачны? Зачѣмъ онъ призываетъ смерть? Мы не знаемъ. Передъ нами тонкій химическій экстрактъ изъ идеи монашества, умышленно неопредѣленный штрихъ, приложимый ко многимъ типамъ отшельническаго житія.

Съ перваго взгляда здѣсь нѣтъ данныхъ для драматическаго столкновенія. Іоаннъ добровольно пришелъ въ это «безбурное жилище» и этимъ изъявилъ свое согласіе держать посты по уставу. Монастырь въ принципѣ не отрицалъ пѣснопѣнія, и, переходя «тѣсный входъ» въ обитель, новый братъ имѣлъ всѣ основанія предполагать, что пѣсенъ и гуслей отъ него не отнимутъ. Имѣлъ же онъ какое-нибудь основаніе думать, что обитель — купель познанія и колыбель новой жизни. Драматизмъ возникъ случайно. Суровый черноризецъ запретилъ новому иноку духъ праздности и прелесть пѣснопѣнія. Но, во-первыхъ, это было только «испытаніе», данное въ «новоначалье», т.-е., можетъ-быть, времен-

я мѣра, и, во-вторыхъ, новый братъ могъ и не принять добнаго условія, ибо въ уставѣ монастыря до его прихода было подобной запретительной статьи. Во всякомъ слу-ѣ, положеніе Іоанна не было безусловно безвыходнымъ; у предстоялъ только выходъ между монастыремъ и вдохно-ніемъ. Но до сихъ поръ мы знали, что свобода пѣснотвор-ства была высшимъ закономъ жизни пѣвца, и совершенно подготовлены встрѣтить въ его душѣ высшій принципъ, минирующій и надъ его благочестивымъ вдохновеніемъ. ѣвецъ не послушался калифа; во имя чего же онъ преклo-тся предъ волею черноризца?

Нежданный приговоръ
Какъ громъ упалъ средь мирнаго синклита.
Смутились всѣ. Пѣвца померкнулъ взоръ,
Покрыла блѣдность впалыя ланиты.
И неподвижно долго онъ стоялъ,
Безмолвно опустивъ на землю очи,
Какъ-будто бы отвѣта онъ искалъ
И отвѣчать недоставало мочи.

Съ обычнымъ мастерствомъ поэтъ пластическими штри-ми отмѣтилъ ощущенія пѣвца, и поза говоритъ за Іоанна е, что надо. Онъ могъ бы молчать, и всякій бы понялъ рю въ его душѣ; но пѣвецъ заговорилъ, какъ-будто бы эту нужно было показать всѣмъ, что это не живой чело-ѣкъ, а статуя, въ которой нѣтъ горячаго и живого сердца.

Спустися, ночь, на горестнаго брата
И тьмой его отъ солнца отлучи!
Померкните, затмитесь безъ возврата
Моихъ псалмовъ звенящіе лучи!

Какая ночь? Кто его отлучаетъ отъ солнца? Что это за енящіе лучи псалмовъ? Зачѣмъ, зачѣмъ эти рискованныя тафоры въ ту минуту, когда чуть не ножомъ ударили сердце?

Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!
Уймись во мнѣ, взволнованная кровь!

Такъ и хочется крикнуть слова Пистоля Фальстафу: «Го-ри же, что тебѣ нужно, какъ человѣкъ этого міра».

Свершилось. Мрака набѣгаютъ волны;
Взоръ гаснетъ; стынетъ кровь,—всему конецъ.
Изъ міра звуковъ нынѣ въ міръ безмолвный
Нисходитъ къ вамъ развѣнчанный пѣвецъ...

Все непонятно, все неправдоподобно и вычурно. У Дамаскина была своя и крѣпкая воля; онъ упрямо отвергъ всѣ соблазны дамасскаго владыки. Отчего же теперь онъ такъ безропотно идетъ навстрѣчу волнамъ мрака, смерти и концу всего? Во имя чего онъ отказывается отъ пѣсенъ? Что онъ получаетъ взамѣнъ? По его словамъ, ему остается еще «небесная любовь»; но, во-первыхъ, это уже не мало, и съ такимъ пріобрѣтеніемъ рано предаваться безысходному унынію и отчаянію, а, во-вторыхъ, отчего «небесной любви» не было съ нимъ прежде, до его поступленія въ обитель?

И все-таки «свершилось»: черноризецъ побѣдилъ. Но побѣдилъ ли въ Іоаннѣ монахъ пѣвца?

Увы, подъ этой ризой черной,
Какъ въ оны дни подъ багрецомъ,
Живымъ палимое огнемъ,
Мятется сердце непокорно.

И конечно. Вѣдь, новый братъ отъ пустой схемы пѣснопѣнія перешелъ только къ такой же пустой для него схемѣ монашества, равносильной смерти, могильному мраку и безмолвному міру. Если монашество — только черная риза, то отъ него, конечно, и ждать нельзя цѣлебной силы. Въ чемъ же здѣсь человѣческій драматизмъ, если Дамаскинъ ни отъ чего не отрекался и ничего не бралъ взамѣнъ? Механическая борьба двухъ шаблонныхъ темъ не даетъ никакихъ элементовъ для движенія и развязки фабулы.

Пѣвецъ не выдержалъ испытанія; велико или невелико значеніе этого факта, но это фактъ, имѣющій опредѣленный смыслъ. Но поэтъ, съ своей стороны, употребилъ всѣ усилія, чтобы этотъ фактъ въ сознаніи читателя прошелъ почти незамѣченнымъ. Онъ отдается личному лиризму и за свой счетъ отстаиваетъ свободу творческаго слова.

Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насиліе и гнетъ,
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ!

О, эта мысль! Какъ бы она ни была сказана, она каждый разъ потрясаетъ человѣческое сердце, подкупаетъ сознаніе въ пользу любой концепціи, наркотически дѣйствуетъ на всякое вниманіе.

Если бы этотъ лирическій цвѣтокъ былъ вплетенъ въ менѣе величавую и болѣе человѣческую фабулу; если бы

сама мысль не разрасталась до фантастическихъ и грандіозныхъ очертаній, когда по неудержимой силѣ она равна бурному вѣтру съ Ливанскихъ горъ, гремящимъ среди скалъ струямъ потока и восходящему солнцу,—поэтическая мелодія на эту тему властно поработила бы себѣ нашу душу. Но здѣсь она не на мѣстѣ; здѣсь это парентирсъ древнихъ [3]). Развѣ въ правѣ былъ Дамаскинъ жаловаться на гнетъ и насиліе? Развѣ не добровольно онъ согласился на испытаніе? Это только эпитимія, благочестивое аскетическое упражненіе. Паѳосъ поэта былъ бы понятенъ, если бы дѣйствующимъ лицомъ у него былъ не суровый черноризецъ, а отцы-инквизиторы. Гдѣ же здѣсь-то оковы?

Этотъ гимнъ дышитъ радостью и побѣднымъ торжествомъ. О, если бы, дѣйствительно, мысль была такъ стихійно-неудержима! Умираютъ и мысли, но умираютъ, конечно, не въ оковахъ. Развѣ Аристотель не убилъ мысль Аристарха Самосскаго [4]), которая ожила только въ современной астрономіи? Развѣ живутъ тѣ мысли, которыя игнорируются двумя или тремя поколѣніями, пока далекіе потомки не воздвигнутъ имъ приличнаго мавзолея? Развѣ живутъ тѣ великія мысли, которыя на языкѣ у всѣхъ звучатъ не своимъ смысломъ, пока не сотрутся и не станутъ безцвѣтнымъ общимъ мѣстомъ? И эта тема не была бы такою жгучею и наркотическою, если бы въ ней было меньше скорби и муки. Длинный мартирологъ мысли не былъ бы возможенъ, если бы мысль была свободна, какъ вѣтеръ, и могуча, какъ солнце. Гиперболы поэта заставляютъ вниманіе читателей скользить только надъ поверхностью глубокой мысли.

Но это лирическое отступленіе смягчаетъ проступокъ Дамаскина.

Онъ съ монахами поетъ.
Но вотъ межъ ними гость нежданный:
Нахмуря брови, предстаетъ
Наставникъ старый Іоанна.
Суровы строгія черты;

---

[3]) Парентирсъ, по опредѣленію грамматика Ѳеодора, паѳосъ безвременный и напрасный тамъ, гдѣ не должно быть паѳоса, или неумѣренный тамъ, гдѣ нужна ему мѣра. По Лессингу, стр. 199.

[4]) Аристархъ Самосскій, греческій астрономъ, доказывалъ, что земля вращается вокругъ солнца.

Н. Д.

Главу подъемля величаво,
«Пѣвецъ», онъ молвитъ...

Но мы уже видѣли его рѣчь; человѣкъ, который такъ стоитъ и такъ смотритъ, не пойдетъ на компромиссы; съ нимъ борьба невозможна; предъ его непреклонною волей должно безропотно склоняться все; одно нарушеніе устава уничтожаетъ въ его мнѣніи всѣ подвиги и заслуги. Но Дамаскина ни на минуту не покидаетъ счастіе; соборъ отшельниковъ ходатайствуетъ за него предъ черноризцемъ. Мы не знаемъ, чувствовалъ ли себя черноризецъ въ правѣ отступиться отъ своего требованія, но онъ сдѣлалъ это въ угоду синклиту и наложилъ на пѣвца только эпитимію. И опять драматизмъ законченъ, правда, чисто внѣшнимъ образомъ, безъ внутренней борьбы, безъ нравственныхъ колебаній. Но поэма движется дальше; надо возвеличить пѣвца и пѣснопѣніе, и все это достигается чудомъ. Изъ обычныхъ условій дѣйствительной жизни споръ переносится въ область нездѣшней правды, гдѣ и разрѣшается.

Сколько разъ живые люди смотрѣли на поэта сквозь образы исторіи, и каждый разъ поэтъ лишалъ ихъ слова. Въ простыхъ лицахъ ему чудились черты иного міра и иной красоты; онъ хотѣлъ проникнуть своимъ взоромъ къ тѣмъ послѣднимъ обобщеніямъ типа, гдѣ индивидуальность расплывается въ туманѣ и исчезаетъ. Зато внѣшняя оболочка дѣйствующихъ лицъ всегда тревожила его творческіе инстинкты и создавала позы, полныя пластической экспрессіи.

Н. Соколовъ.

«Донъ-Жуанъ», драматическая поэма А. Толстого [1]).

Нерѣдко можно слышать мнѣніе, что Донъ-Жуанъ гр. А. Толстого—одно изъ самыхъ «обдуманныхъ» произведеній литературы, что въ основѣ его лежитъ изученіе всѣхъ и всякихъ версій испанской легенды, что поэтъ въ своемъ героѣ уловилъ общечеловѣческій смыслъ этого типа. Въ этомъ мнѣніи есть, конечно, своя правда; обдуманности въ «драматической поэмѣ» много, и еще больше въ ней философіи; но и въ понятіи типа и въ понятіи философіи мы должны сдѣлать существенныя измѣненія, чтобы цѣликомъ удержать это мнѣніе. Мы не стали бы останавливаться на эпиграфѣ (изъ Гофмана) поэмы, если бы онъ не давалъ намъ ключа къ загадочному шифру драмы «Das ist die entsetzliche Folge des Sündenfalls, dass der Feind die Macht behielt, dem Menschen aufzulauern, und ihm selbst in dem Streben nach dem Höchsten, worin er seine göttliche Natur ausspricht, böse Fallstriche zu legen. Dieser Conflict der göttlichen und dämonischen Kräfte erzeugt den Begriff des irdischen, so wie der erfochtene Sieg den Begriff des überirdischen Lebens». Для пониманія поэмы здѣсь дорого каждое слово, и каждое слово должно быть взято въ прямомъ и строгомъ смыслѣ, внѣ какихъ бы то ни было метафорическихъ иносказаній. Итакъ, понятіе жизни создается изъ понятія столкновенія божественныхъ силъ съ демоническими. Намъ нѣтъ нужды изучать типъ той философіи, которая могла дать такой отрывокъ. Намъ довольно отмѣтить, что типы людей, выработанные путемъ подобной борьбы, лишаются того смысла, которымъ могла бы дорожить экспериментальная психологія, и пріобрѣтаютъ иное, высшее значеніе, понятное только при свѣтѣ метафизики. Нити отдѣльныхъ дѣйствій человѣка оканчиваются не въ предѣлахъ его организма, а идутъ въ иной міръ, въ область сверхчувственной жизни, гдѣ и сплетаются въ свой

---

[1]) Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтическаго творчества».

узелъ, дающій сущность и схему даннаго типа. Разстояніе между поступкомъ, какъ слѣдствіемъ, и духовнымъ двигателемъ, какъ причиною, значительно увеличивается, такъ-что оцѣнка и судъ надъ той и другой личностью переносятся въ высшую судебную инстанцію.

Что же говорятъ о донъ-Жуанѣ люди, среди которыхъ онъ жилъ?

Твоихъ бровей грозящая дуга
Являетъ самолюбіе и гордость,—

читаетъ по его лицу дона-Анна.

... Вокругъ бровей
И возлѣ устъ играетъ и змѣится
Насмѣшливо-суровая черта,—

тонко и живописно выражается о его наружности командоръ. Очевидно, нумизматическое лицо донъ-Жуана останавливало на себѣ и его вниманіе.

Со спокойствіемъ лѣтописца, съ умѣніемъ опытнаго декоратора описываетъ маркиза де-Маранья какой-то кавалеръ на площади у фонтана:

Онъ сбросилъ плащъ, онъ шляпу загибаетъ,
Его лицо освѣщено луной,
Какъ-будто хочетъ онъ, чтобъ вся Севилья
Его узнать могла.

Даже самъ сатана любуется красивымъ юношей, какъ-будто его глазами смотрѣло женское сердце.

Но если рѣчь зайдетъ о воинской отвагѣ
Или любви коснется разговоръ,
Его рука уже на шпагѣ,
Огнемъ горитъ орлиный взоръ.
Какъ онъ хорошъ въ толпѣ придворной,
Одѣтый въ бархатъ и атласъ,
Когда онъ клонитъ такъ притворно
Свой взоръ при встрѣчѣ женскихъ глазъ!

Это—«духъ тьмы, видъ ангела пріявшій», по словамъ оскорбленной доны-Анны; «это—ангелъ-истребитель», по признанію самого донъ-Жуана. На всемъ протяженіи поэмы мы видимъ Жуана, видимъ его позу, жестъ и складки костюма; мы видимъ его у окна доны-Анны, когда онъ при звонѣ гитаръ, стоя у рѣшетки, бесѣдуетъ съ командоромъ; видимъ подъ балкономъ Нисеты, когда онъ такъ красиво задрапиро-

анъ рукою кавалера; видимъ его сборы на гулянье, когда
епорелло торопится надѣть на него золотую цѣпь; видимъ
у ногъ доны-Анны и у ногъ мнимаго отца Іеронима; ви-
имъ съ гитарой на пиру, всегда видимъ статнымъ юношей
ъ картинной позѣ. Но мы хотимъ знать его, какъ чело-
ѣка этого міра, знать въ привычкахъ и манерѣ жить, въ
ѣляхъ и побужденіяхъ дѣятельности.

У Пушкина Лаура уронила про Жуана одно только
ово—«мой вѣрный другъ, мой вѣтреный любовникъ»,—и
о слово сразу же дало освѣщеніе всей его личности. Ко-
чно, вѣтреный любовникъ, ибо иначе какой же онъ донъ-
уанъ, но онъ вѣрный другъ, другъ Лауры, у которой лю-
вники—не диво, а друзья—большая рѣдкость. Вѣетъ ка-
ю-то мягкостью и добродушною лаской отъ того неотрази-
го искусителя, который поэтамъ, падкимъ до необыкно-
ннаго и неразгаданнаго, казался человѣкомъ суровымъ и
есткимъ. Какъ плодотворна смѣлость истиннаго поэта! Онъ
испугался простыхъ и понятныхъ для всѣхъ искушеній,
рабощающихъ женское сердце; онъ не побоялся оттѣнить
ры донъ-Жуана любовью такой женщины, которая, пови-
имому, не слишкомъ дорожитъ своей любовью. У пушкин-
аго донъ-Жуана нѣтъ ни грозящей дуги бровей, ни на-
тѣшливо-суровой черты возлѣ губъ, ни глубокомысленной
илософіи,—и все-таки намъ ясно, что не любить его было
удно. Въ Лаурѣ нѣтъ изысканнаго благородства, но не
ъ каждомъ женскомъ сердцѣ мы найдемъ любовь, какую
івала она донъ-Жуану.

... А далеко, на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Быть-можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.

ночь въ Севильѣ была тиха, полна ароматами лимоновъ
лавровъ, озарена яркою луной! И за спиной Лауры стоялъ
онъ-Карлосъ въ ожиданіи ласки отъ веселой красавицы!
колько правды, простоты и нѣжности въ этомъ короткомъ
здохѣ! Быстро и вольно рвутся изъ души дѣйствующихъ
ицъ Пушкина короткія, отрывистыя фразы; эти люди живы
просты, какъ жизнь, какъ искусство. Полный неудержи-
аго веселья, легкомысленно позабывшій обо всемъ, кромѣ
воего счастія, юный испанскій грандъ зоветъ къ себѣ на
вой праздникъ ненавистную статую, вблизи которой такъ

много плакала дона-Анна. Сколько счастія въ мечтѣ поэта! Сколько наслажденія въ діалогѣ, простомъ и до дна ясномъ!

Поищемъ подобныхъ же штриховъ и въ донъ-Жуанѣ гр. А. Толстого. Здѣсь, этотъ типъ, повидимому, долженъ быть еще проще и понятнѣе; не даромъ же поэтъ дважды и надолго запираетъ донъ-Жуана въ его дворцѣ и заставляетъ маркиза исповѣдываться предъ читателями. Чего легче понять человѣка, который говоритъ все, что происходитъ въ его душѣ? Увы, и искренняя исповѣдь бываетъ иногда непонятнѣе хитрыхъ загадокъ и сложныхъ гіероглифовъ. Жуанъ не знаетъ, какое чувство будитъ въ немъ дона-Анна. Конечно, не любовь; любовь—ложь; онъ, несомнѣнно, понимаетъ это чувство; въ ней становится понятнымъ «чудесный строй законовъ бытія, явленій всѣхъ сокрытое начало»; и ни одна женщина такой любви ему не давала; и онъ упрекаетъ женщинъ въ измѣнѣ, въ обманѣ и лжи, приходитъ въ ярость и сердится на любовь. Но въ его сердцѣ все-таки что-то есть; можетъ-быть, это совѣсть? Но если нѣтъ любви, то нѣтъ и совѣсти. Монологъ принимаетъ возвышенный и страстный характеръ. Жуанъ сыплетъ проклятіями и негодуетъ; почему-то ему въ голову приходитъ странный вопросъ: «Кто приковалъ къ извѣстному пространству человѣка? Кто ограничилъ нашъ свободный духъ стѣной, горами, моремъ иль заставой?» О, въ философіи есть много неясныхъ вопросовъ, и донъ-Жуанъ ожесточается. И къ его любви примѣшивается все больше и больше гнѣва и злобы. Онъ негодуетъ, «какъ негодуетъ раненый орелъ, когда влачить полетъ онъ долженъ низко». Намъ бы хотѣлось, наконецъ, знать, что же говоритъ этотъ яркій образъ. Но и этотъ орелъ—какой-то необыкновенный орелъ; ему не больно отъ раны; подстрѣленный, онъ негодуетъ, и не на того, кто подстрѣлилъ его, а лишь на то, что онъ долженъ низко влачить свой полетъ.

О, наивный филистеръ, обдумывающій жизнь, вмѣсто того чтобы жить, анализирующій любовь, вмѣсто того чтобы любить! И какія только женщины любятъ эту сухую метафизику, полную придуманной злости и напускного гнѣва! Но мы дѣлаемъ ошибку, когда ищемъ ключъ къ загадкѣ въ той же психологической области, гдѣ нашли его и у Пушкина. Мы должны подняться многими этажами выше и углубиться въ тайны «überirdischen Lebens». Духи утверждаютъ,

что «сей донъ-Жуанъ любимецъ есть природы» и въ то же время онъ—«избранникъ сатаны»; сатана утверждаетъ, что Жуанъ «не понялъ святого значенія любви», но духи показали Жуану, «въ чемъ сердца задача». На всемъ пространствѣ поэмы, по словамъ духовъ, «въ тревогѣ думъ, въ разгарѣ мощныхъ силъ Жуанъ блуждаетъ дерзостенъ и страстенъ, но за черту еще онъ не ступилъ»; по мнѣнію сатаны нельзя спасти Жуана де-Маранья, «какую бъ намъ систему ни принять: систему вѣры иль раціонализма (?), деизма или пантеизма, хоть всѣ до одного оттѣнки перебрать, которыми привыкла щеголять философская призма». И кто же пойметъ этого удивительнаго человѣка, если онъ возбуждаетъ сомнѣнія и споры тамъ, гдѣ мудрость и проницательность безусловно превышаютъ человѣческія силы?

И дону-Анну поэтъ не пряталъ отъ нашихъ глазъ; вмѣстѣ съ донъ-Жуаномъ и другими лицами пьесы она образуетъ очень эффектныя группы; мы видѣли ее, подъ руку съ командоромъ, на площади у фонтана; видѣли надъ трупомъ отца; видѣли, какъ она заслоняетъ собою донъ-Жуана отъ офицера Sant'Officcio;

Вся набожно отдавшися Мадоннѣ,
Она теперь не знаетъ и сама,
Какъ живописно съ гребня кружевное
Ей падаетъ на плечи покрывало.

Нѣтъ сцены, гдѣ бы она не была живописна и красива. И дорого же она заплатила за эту красоту! Она превратилась въ «идеалъ», въ идеалъ вообще, безъ тѣни жизненнаго загара, безъ одной характерной складки живого организма. Съ истинно-сатанинскимъ сарказмомъ Сатана всю ее сводитъ къ одной линіи, которая «прямехонько упирается» «въ чистый прототипъ», «въ образъ совершенный, для каждой личности заранѣ припасенный». Бѣдная, идеально-пустая дона-Анна! Какъ понять ея сердце? Чѣмъ объяснить ея любовь? Съ земной точки зрѣнія, она необъяснима. По смыслу ея признаній, она, понявъ загадку души донъ-Жуана, полюбила суровую испанскую теорему, провѣренную нѣмецкою метафизикой, какъ ученый любитъ свои трактаты, стоившіе труда и усилій. Конечно, это только одно изъ предположеній, которыхъ можетъ быть сдѣлано, съ равнымъ правомъ, много; отдавъ свою характеристику Сатанѣ, она вышла изъ-подъ юрисдикціи человѣческой критики.

Всѣ остальныя дѣйствующія лица—только второстепенные декоративные аксессуары, поэтому поэтъ и не доводитъ ихъ характеристики до третьей метафизической инстанціи и ужъ, конечно, не дѣлаетъ психологическаго анализа, въ чемъ было отказано и первымъ сюжетамъ. Что такое Боабдилъ?

Колпакъ и куртка
И абордажный на цѣпи топоръ;
Узорныя морскія шаровары,
И туфли на босую ногу...

Прибавьте къ этому его фелуку:

Щегольски загнута,
Лихая мачта въ воздухѣ дрожитъ.
Прилаженъ къ ней косой латинскій парусъ...

Очень приличный пиратъ! Въ любомъ балетѣ онъ произвелъ бы эффектъ. Правда, онъ покушался на жизнь донъ-Жуана; но это покушеніе вовсе не нужно для драмы, ничѣмъ не связано съ тою борьбой, которая происходитъ въ душѣ героя; оно не нужно и для характеристики Боабдила; онъ и безъ того «молодецъ-разбойникъ хоть куда». Дать душу туфлямъ и шароварамъ, показать личность и характеръ пирата, дать ему способность дѣйствовать по своему почину, въ силу личныхъ стремленій и цѣлей—казалось поэту, должно-быть, ненужною роскошью. Этотъ мориско долженъ быть радъ и тому, что его пестрою и яркой живописностью оттѣняется строгое изящество маркиза де-Маранья.

Командоръ... но это печальная участь всѣхъ командоровъ, предусмотрительно запасенныхъ для шпаги донъ-Жуана. Они живутъ въ поэмахъ недолго, но оживаютъ въ видѣ надгробныхъ статуй. Свою механическую роль и здѣсь онъ исполняетъ вполнѣ добросовѣстно, если только трезвъ театральный механикъ. Суровое благородство—вотъ и все, что поэтъ мимоходомъ бросаетъ гордому испанскому гранду.

Добродѣтельный донъ-Октавіо—лишняя нить въ драматическомъ узлѣ; его назначеніе—оттѣнять благородство доны-Анны, а она и безъ того—идеалъ.

Остается Лепорелло; но это—лакей, существо вульгарное и низкое, и поэтому поэтъ оставилъ ему нѣкоторые намеки на жизненность и естественность. Болтливый трусъ, находчивый плутъ, онъ иногда говоритъ такимъ языкомъ, въ которомъ слышатся самобытность и характерность.

Въ сущности, секретъ лирическаго драматизма очень простъ. Намекъ на драму есть только въ душѣ донъ-Жуана. Усилія построить на метафизическомъ основаніи теорію любви, попытки провести эту теорію въ отношенія къ донѣ-Аннѣ и гибель теоріи при встрѣчѣ съ истиннымъ чувствомъ—вотъ и всѣ ступени драматическаго движенія. Всѣ дѣйствующія лица только—или случайные отрывки изъ философскаго монолога автора, или красивыя статуи. При отсутствіи жизненности и типичности, они мало стѣсняютъ лирическіе порывы поэта; но все-таки поэту иногда надоѣдаетъ даже ex officio поддѣлываться подъ тонъ своихъ героевъ, и онъ смѣло вставляетъ свои тирады въ ихъ діалоги. Легко угадать, гдѣ слово остается только за авторомъ, внѣ нуждъ и цѣлей драмы. Тамъ, гдѣ (по возможности, въ тишинѣ раздается рѣзкій металлическій звукъ, гдѣ контуры очерчены тонкою и изящною геометрическою линіей, тамъ дѣйствующее лицо—авторъ. Только Лепорелло почти исключенъ изъ этого круга красоты; но и онъ измѣняетъ своей лакейской природѣ, когда соблазнъ слишкомъ великъ. Ночью, на кладбищѣ, предъ статуей командора («весь мраморный на мраморномъ конѣ») и Лепорелло отдается поэтическимъ грезамъ. Ему чудится, что

межъ гробницъ
Уже какой-то странный ходитъ шепотъ.

Испугъ поднимаетъ его фантазію еще выше и оживляетъ кладбищенскія изваянія.

Кругомъ вездѣ
Все движется и шепчетъ. Рвутся кони
И фыркаютъ, покрыты бѣлой пѣной.

Метафизика автора не давала и возможности драмы. Донъ-Жуанъ не въ себѣ находитъ мотивы своей дѣятельности; онъ то слѣпнетъ, то видитъ вновь и, невиноватый въ этихъ переходахъ, не можетъ взять на себя отвѣтственность за свои поступки. Вся его дѣятельность случайна; убѣжденій у него нѣтъ; онъ—жертва чужой воли; въ немъ нѣтъ главнаго условія всякаго драматическаго характера—своей и свободной души.

Н. Соколовъ.

Міросозерцаніе А. Толстого [1]).

Было время, когда жрецы Аполлона стояли въ сторонѣ отъ научныхъ пререканій и мирно черпали свое вдохновеніе изъ кастальскаго источника. Это время прошло. Мысль утратила холодность и спокойствіе, будила гнѣвъ, сама загоралась яростью и, какъ всякій боецъ, грудью стояла за свои права. Слагался культъ мысли. Отзывчивая поэзія не могла остаться равнодушною и спокойной зрительницей этой борьбы. Съ тѣхъ поръ поэтъ сталъ, по словамъ Гейне, König des Gedankenreiches. Съ тѣхъ поръ и великіе и невеликіе поэты заговорили о томъ, какъ сложились ихъ убѣжденія, какъ вѣрятъ они въ свою мысль, какъ ненавидятъ они враговъ своего знамени. Гейне гордился именемъ поэта-солдата (L'enfant perdu). Какое же мѣсто занималъ въ этихъ битвахъ гр. А. Толстой? Мы уже видѣли, что поэтъ съ оттѣнкомъ ироніи смотрѣлъ не только на тѣхъ людей, которые во имя своего добра «шли напроломъ», «давили встрѣчнаго-поперечнаго», но и на тѣ «думы», которыя корнями врывались въ сердце и вырастали въ стройное и высокое дерево. Да, онъ сталъ въ сторонѣ отъ тѣхъ думъ, которыя «прутъ впередъ», сметая все съ своей дороги. «Всѣ воззрѣнія «возможны» (?), всѣ равно вѣрны или равно ложны», но иногда и онъ понималъ возможность борьбы, не отрицалъ сущности спора и все-таки не приставалъ ни къ той ни къ другой партіи, «всѣмъ простиралъ благую руку и никого не осуждалъ». И онъ былъ убѣжденъ, что онъ правъ; онъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ, гордо провозглашалъ свое безпристрастіе и свою независимость.

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;

---

[1]) Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтическаго творчества».

Союза полнаго не будетъ между нами
Не купленный никѣмъ, подъ чье бъ ни сталъ я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снесть,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Въ нѣкоторыхъ европейскихъ парламентахъ депутаты ѣ партіи называются «дикими»; у англичанъ—это тримры. И Галифаксъ [2]), не вигъ и не тори, на рубежѣ между рствованіями Іакова II и Вильгельма Оранскаго умѣлъ позать себя смѣлымъ и сильнымъ бойцомъ за свои идеи. ъ «явно» спорилъ съ обѣими партіями, покидая виговъ дни ихъ торжества и возвращаясь къ нимъ въ дни поженія. Это—опредѣленный типъ бойца, который не остается знодушнымъ къ борьбѣ партій, но только шире смотритъ точнѣе знаетъ, за что бьется. Если нѣтъ полнаго союза, зможно соглашеніе по нѣкоторымъ статьямъ договора. екупленный»—это еще не большая добродѣтель; въ обоь станахъ, вѣроятно, были не одни продажные кондотьеры наемные солдаты. Можно отстаивать честь вражескаго знаци и въ то же время сражаться съ врагами. Поэтому цѣльные моменты этого признанія ничего опредѣленнаго характернаго еще не даютъ. Въ чемъ же, собственно, соль ого стихотворенія? Поэтъ свободенъ отъ «пристрастной ревсти», свободенъ отъ увлеченій и запальчивости борьбы; въ обомъ» лагерѣ онъ вступится за знамя «врага». Неизмѣнно подный и разсудительный, онъ больше всего боится итти ередъ «напроломъ». У него «много добра въ головѣ», «зорі очи», которыя «смотрятъ во всѣ стороны», думы, которыхъ окинуть разумомъ и не высказать; и, конечно, никто не жетъ привлечь его къ клятвѣ и полному союзу. Дается впечатлѣніе, что поэтъ сильнѣе каждаго стана порознь, о ему доступна истина цѣликомъ, а «бойцамъ»—только носторонния убѣжденія. Отчего же онъ открыто не объитъ войны обоимъ станамъ? Если онъ видитъ ихъ ошибки знаетъ свою правду, онъ «долженъ» разсчитывать на побѣду. ли онъ не хочетъ побѣды своему убѣжденію? Если такъ, ъ не вѣритъ въ свою мысль. Сознаніе своего умственнаго евосходства пріятно; но въ самомъ тонкомъ и ловкомъ

[2]) Галифаксъ — англійскій государственный дѣятель (1661—5 гг.). Былъ министромъ финансовъ и преобразовалъ англійскіе фисы.

Н. Д.

діалектикѣ можетъ быть мало личной мысли. Необыкновенно возвышенныя мысли, для торжества которыхъ тонкій мыслитель не сдѣлалъ ничего, могутъ быть остроумны, но онѣ почти всегда безжизненны. Живая мысль превращается въ убѣжденіе, а убѣжденіе часто бываетъ такъ же сурово, какъ иногда сурова любовь. Любовь, по самому существу своему,—самоограниченіе. Та любовь, которая раскидываетъ свои лучи «врозь по мірозданью», не любовь, а жалкая фикція любви, подъ которою таится совершенно иное содержаніе. Настоящая любовь собираетъ всю свою энергію въ одномъ лучѣ и ничего не «золотитъ безъ разбора». Чтобы разсмотрѣть одно, надо вытѣснить изъ поля сознанія все остальное. Нельзя любить человѣчество, можно любить человѣка. Любовь, какъ величайшая энергія жизни, можетъ быть колыбелью ненависти, поводомъ борьбы, источникомъ зависти, силой, вызывающею и благословляющею зло и насиліе, оправдывающею месть. Любовь — основа сложившагося характера; ея отсутствіе—холодность, равнодушіе, апатія, разбросанность. Ставить любовь внѣ предѣловъ земной жизни—значитъ, не только отрицать человѣческую любовь, но отрицать стройность, законченность и цѣлесообразность духовной конструкціи человѣка. Искать любовь въ надзвѣздныхъ или замогильныхъ сферахъ—значитъ, отрицать жизнь, искать новыхъ формъ существованія и новаго типа психической организаціи. Любовь къ женщинѣ—только одинъ изъ видовъ любви, но въ ней особенно ярко сказались всѣ свойства этого чувства. Любовь и нѣжность, измѣна и ревность, обманъ и месть, эгоизмъ и самоотреченіе—всѣ демоны и геніи, всѣ пороки и добродѣтели человѣка сопровождаютъ это чувство и даютъ неисчерпаемый родникъ прозы и поэзіи, драмы и лирики. Любовь—прежде всего предпочтеніе. Такъ же непримиримо и убѣжденіе. «Случайный «гость» двухъ становъ»—отрицаніе основы спора. Все признавать, все примирять въ себѣ—значитъ, не имѣть личной формулы жизни и знанія. «Случайный гость всѣхъ становъ человѣческой борьбы» едва ли можетъ быть названъ человѣкомъ. Такое отношеніе было по плечу только лермонтовскому Демону. Онъ

Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего.

гсюда, не принадлежать ни къ одной партіи почетно только гда, когда есть своя, болѣе широкая программа. Знать и ить такую программу про себя—уже далеко не такъ по-тно. «Знаю, да не скажу»—чаще всего говорятъ тѣ, кто лько маскируетъ свое незнаніе. «Графъ А. К. Толстой,—ворить одинъ критикъ,—ни по характеру своего таланта по особенностямъ своей натуры не принадлежитъ ни къ горнымъ поклонникамъ старыхъ идеаловъ ни къ легко-рнымъ сторонникамъ новыхъ порядковъ. Онъ стоитъ какъ на рубежѣ двухъ умственныхъ эпохъ Россіи, примиряя ѣ эпохи и внушая довѣріе обѣимъ» [3]). Ни упорства въ ста-мъ ни легковѣрія въ новомъ... Какой завидный талантъ! кая счастливая натура!

Въ самомъ дѣлѣ, тревожная работа мысли, отмѣтившая чало нашего вѣка, положила свой отпечатокъ на всѣ про-ленія духовной жизни. Цѣлостность и законченность ха-ктера нерѣдко приносились въ жертву стройности мышле-я. Одинокій и смѣлый мыслитель сталъ героемъ самыхъ учихъ, самыхъ любимыхъ драмъ и романовъ. Можно за-тить, что любовь, какъ любовь къ женщинѣ, какъ патріо-змъ, какъ эгоизмъ и честолюбіе, волновала сердца людей льнѣе, когда она соединялась съ вѣрой въ свою мысль, опредѣленными убѣжденіями. Даже любители легкаго чте-я получили склонность къ «идейнымъ» героямъ. Чело-вкъ, который мѣтитъ только въ «кругъ неизмѣримый», не г нашего времени, почти не мужчина. Анемичная мысль, торая гибка и несамостоятельна, какъ плющъ, который ется вокругъ всякаго дерева, даетъ впечатлѣніе праздной енственной мечтательности. Поэту и романисту новаго вре-ени трудно игнорировать «убѣжденія». И гр. А. Толстой ворилъ о своихъ убѣжденіяхъ!..

Я васъ узналъ, святыя убѣжденья,
Вы спутники моихъ минувшихъ дней,
Когда, за бѣглой не гоняясь тѣнью,
И думалъ я, и чувствовалъ вѣрнѣй,
И юною душою ясно видѣлъ
Все, что любилъ, и все, что ненавидѣлъ!

а, вѣра въ свою мысль имѣетъ всѣ права на любовь и не-вистъ. Но какое горькое, какое злое чувство должна бу-

---

[3]) «Голосъ», 1875, № 279. X. Y. Z.

дить та бѣглая тѣнь, которая затуманила убѣжденія поэта! Какъ жаль, что долгіе годы онъ отдавалъ свою любовь не своей правдѣ! Что же онъ любилъ и что ненавидѣлъ? «Средь міра лжи, среди чужого міра» поэтъ сохранилъ свою правду, и, когда туманъ разсѣялся, онъ вышелъ на старую дорогу.

Попрежнему сіяетъ правды сила,
Ее сомнѣнья болѣ не затмятъ,
Неровный кругъ планета совершила
И къ солнцу снова катится назадъ.
Зима прошла, природа зеленѣетъ,
Луга цвѣтутъ, весной душистой вѣетъ...

«Бѣглая тѣнь» разрѣшилась «торжественнымъ аккордомъ», но ни одного намека на сущность любви и ненависти, на содержаніе убѣжденій. Зачѣмъ механическое движеніе планеты, зачѣмъ весна, зачѣмъ эти вереницы яркихъ, но безсодержательныхъ образовъ? Этотъ гнѣвъ тихъ и мягокъ, эта любовь блѣдна и лѣнива. Нѣтъ, даже слово «убѣжденіе» здѣсь жертва чужому богу; это—иновѣрецъ, который читаетъ чужія молитвы съ страннымъ акцентомъ и съ ошибками въ удареніи. Это и понятно! для поэта «и кажись хорошо, а и лучше есть; а и худо кажись,—не безъ добраго». При такомъ взглядѣ на жизнь убѣжденіямъ нѣтъ мѣста.

Поэтъ, въ сущности, не имѣлъ никакого повода проповѣдывать мораль битвъ и житейскаго волненія; онъ искалъ въ жизни «сладкихъ звуковъ» и заставлялъ мелодично звучать даже «безотрадное сердце». Онъ любилъ красоту боевыхъ доспѣховъ, но самъ не былъ созданъ бойцомъ. A la guerre comme à la guerre, но онъ забываетъ надѣть передъ боемъ кольчугу, и что удивительнаго, если онъ скоро гибнетъ отъ раны. Правда, поэтъ сохранилъ боевую терминологію; только—«слова все тѣ же, но какъ-будто смыслъ другой»... Съ внѣшней схематической стороны поэтъ подмѣтилъ въ строеніи мысли и убѣжденій красивые штрихи и, отмѣтивъ ихъ, сдѣлалъ все, что могъ. Онъ не принималъ участія въ битвахъ, потому что хотѣлъ любоваться битвами.

Н. Соколовъ.

Гр. Алексѣй Толстой какъ сатирикъ [1]).

I.

Графъ Алексѣй Толстой славился своимъ остроуміемъ. На эту черту его темперамента и на эту грань его ума ъ сборникѣ его стиховъ указаній очень мало. Величавый торжественный тонъ его лирики и эпоса, трагическій паосъ его драмъ допускаютъ, правда, иногда вторженіе игриой мысли, остраго слова и каламбура; попадаются также, ь очень ограниченномъ количествѣ, пародіи и памфлеты, оторые чувствуютъ себя не совсѣмъ ловко среди религіозыхъ и патріотическихъ балладъ и мечтательныхъ напѣвъ. Иногда остроуміе и сарказмъ выдвигаются, какъ, наримѣръ, въ Донъ-Жуанѣ, умышленно на первый планъ, ія оттѣненія мистико-религіознаго смысла всего произвенія, но отъ такой перемѣны ключа и темпа художественсть выигрываетъ мало. Въ четырехъ томахъ своихъ сочиній Толстой, по волѣ издателей, лишь глубокомысленный звецъ величавыхъ, возвышенныхъ настроеній. Онъ прячетъ ою улыбку, свою насмѣшку, ему, повидимому, нравится льше богъ Аполлонъ съ лирою въ рукахъ, чѣмъ съ колномъ ядовитыхъ стрѣлъ за спиною.

Но Толстой умѣлъ обращаться съ этими стрѣлами и на хъ не скупился. Это хорошо извѣстно всѣмъ его почитаямъ, которые могли имѣть въ рукахъ изданныя за грацею такъ-называемыя «запрещенныя» стихотворенія Толого и имѣли случай читать его интимныя письма, невно напечатанныя.

Сарказмъ и юморъ были не простымъ придаткомъ къ му богатству духа, какимъ обладалъ гр. Толстой. Спобность видѣть смѣшную и нелѣпую сторону жизни, жела-

---

[1]) «Вѣстникъ Европы», 1906 г., № 7.

Н. Щербина, забывъ своихъ грековъ и римлянъ, на старости лѣтъ тоже записался въ сатирики. Онъ совсѣмъ отвыкъ отъ всякой античной граціи и спокойнаго созерцанія, былъ боленъ и сталъ желченъ. Общественныя дѣла и вопросы его интересовали мало; онъ былъ занятъ больше личностями и по адресу почти всѣхъ тогдашнихъ писателей наговорилъ много остроумныхъ дерзостей въ формѣ эпиграммъ, посланій и характеристикъ. Особенно невоздержанъ былъ онъ въ своемъ раздраженіи противъ молодыхъ прогрессистовъ, въ виду все болѣе и болѣе развивавшагося въ немъ эстетическаго консерватизма, который и обращалъ его сатиру въ простое брюзжаніе. Въ этой сатирѣ была сила, но только сила чисто внѣшняго хлесткаго слова.

Б. Алмазовъ, большой эстетикъ и любитель романтическихъ темъ, также былъ унесенъ волной стихотворнаго обличенія. Въ выборѣ темъ, какъ человѣкъ молодой и пылкій, онъ былъ смѣлъ и обладалъ безспорнымъ даромъ необычайно плавной и картинной рѣчи. Онъ былъ мастеръ не столько риѳмъ, сколько самаго стиха, и пародія давалась ему легко. За вычетомъ его нападокъ на самыя модныя и потому быстро испошлившіяся темы—въ родѣ бюрократизма вообще, взяточничества, лицемѣрія, празднаго либерализма, семейной неурядицы—его сатиры на тогдашнюю журналистику и его мѣткія характеристики литературныхъ партій были цѣнною новинкой, возбуждавшею откровенный смѣхъ, смѣхъ отъ души, но, въ сущности, смѣхъ весьма невинный.

В. С. Курочкинъ—извѣстный редакторъ «Искры»—умѣлъ смѣшить лучше. Тоже виртуозъ стиха и риѳмы, онъ славился своими переводами, или, вѣрнѣе, переложеніями изъ Беранже, и самъ слѣдовалъ манерѣ своего учителя. Въ его стихахъ, въ общественномъ смыслѣ опять-таки весьма невинныхъ, много легкости и граціи, много даже нѣжныхъ оттѣнковъ, но удара настоящаго нѣтъ. Меньше шаржа, чѣмъ у другихъ, и больше психологической мотивировки; меньше натурализма и больше игривости въ темахъ «вольныхъ»; бо́льшая живость темпа, но опять все тѣ же ходячіе мотивы будничнаго обличенія, скользящаго лишь по поверхности жизни.

Тѣми же достоинствами и недостатками отличалась и сатира Д. Минаева. Въ риѳмахъ поразительно колоритная, въ стихѣ нѣсколько тусклая, эта сатира совсѣмъ уже не вы-

ходила за предѣлы ежедневной житейской суеты и никакихъ общихъ типовъ съ общественнымъ смысломъ не давала. Судя по нѣкоторымъ стихамъ, Минаевъ не имѣлъ даже яснаго представленія объ этомъ общественномъ смыслѣ событій. Онъ былъ мастеръ острыхъ словъ, но не острой мысли.

Можно пожалѣть, что «Гейне изъ Тамбова»—тогда очень популярный псевдонимъ не менѣе теперь популярнаго П. И. Вейнберга — писалъ въ тѣ веселые годы такъ мало. Литераторъ съ большимъ вкусомъ и широкимъ литературнымъ образованіемъ, онъ забавлялъ своими остроумными и игривыми пѣснями, на которыхъ всегда лежала печать очень вышколеннаго вкуса. Пѣсни были вполнѣ невинныя, иногда на мелкую злобу дня, но самъ авторъ, кажется, и не требовалъ отъ нихъ бо́льшаго.

Популяренъ, какъ обличитель, былъ тогда и Розенгеймъ, на поэзію котораго такъ недовѣрчиво смотрѣли наши либералы. Они были правы: сатира и веселая пѣсня совсѣмъ не подходили къ складу души этого мирнаго, мечтательно настроеннаго патріота. Человѣкъ съ искренней любовью къ поэзіи, недурной техникъ стиха и, какъ говорятъ знавшіе его люди, человѣкъ необычайно добрый и мягкій, онъ былъ совсѣмъ въ своей сферѣ, когда касался религіозныхъ и военно-патріотическихъ темъ, и не выходилъ изъ общихъ словъ и положеній, когда хотѣлъ своего читателя не растрогать, а натравить. Конечно, и ему, какъ опытному стихотворцу и литератору со вкусомъ, удавалось подчасъ написать удачное сатирическое стихотвореніе, которое очень нравилось.

Тогда же начиналъ свою литературную дѣятельность и В. П. Буренинъ, обнаруживая въ первыхъ своихъ стихотвореніяхъ очень искусную грань стиха и большой даръ пародій и комическаго таланта.

Къ этому перечню наиболѣе замѣтныхъ сатириковъ-стихотворцевъ и слагателей веселыхъ пѣсенъ нужно добавить и всѣхъ тѣхъ менѣе извѣстныхъ писателей, которые ютились при редакціяхъ сатирическихъ журналовъ и листковъ, столь тогда распространенныхъ. Эти сатирическіе журналы и листки, во главѣ съ «Искрой», представляли въ ихъ совокупности, безспорно, извѣстную общественную силу. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ тѣ годы съ ней считались. «Искра» и другіе листки внушали извѣстное безпокойство, можетъ-

быть даже страхъ, всѣмъ тѣмъ, кто безчинствовалъ довольно явно. Но при опредѣленіи литературной стоимости и общественнаго значенія нашей стихотворной сатиры 50—60-хъ годовъ надо все-таки помнить, что прозаическіе фельетоны и статьи дѣйствовали успѣшнѣе и сильнѣе стихотворныхъ и что всѣ эти риѳмованныя сатирическія стрѣлы были сильны только въ ихъ скученности и при ихъ подавляющемъ количествѣ. Среди всѣхъ сатириковъ—крупнаго, истиннаго таланта, яркаго и бьющаго безъ промаха, не было. Онъ, по крайней мѣрѣ, не замѣтенъ въ тѣхъ стихахъ, которые проникли въ печать.

Всей этой мелкой сатирѣ, и прозаической и, въ особенности, риѳмованной, недоставало глубины взгляда и широты размаха. Можетъ-быть — помимо отсутствія сильныхъ талантовъ—это объясняется еще тѣмъ, что самый родъ легкой, живой сатиры не имѣлъ у насъ непосредственнаго прошлаго и былъ въ николаевское время низведенъ — по крайней мѣрѣ, при гласномъ своемъ обнаруженіи—до самой плоской шутки и каламбура.

Установляя такую относительно невысокую стоимость нашей сатиры въ ея недавнемъ прошломъ, надо, однако, помнить, что все, что́ при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ и наличности талантовъ можно было сдѣлать, она сдѣлала. Она подбадривала, по мѣрѣ силъ, общественное настроеніе тѣхъ годовъ и веселила его. Этого нельзя сказать о той же стихотворной и легкой сатирѣ позднѣйшаго времени, которая свое подневольное положеніе вымещала почти исключительно на тёщахъ, зябнущихъ дачникахъ, пьяныхъ купцахъ, кокоткахъ и спящихъ думскихъ дѣятеляхъ.

III.

Читатель, конечно, успѣлъ уже замѣтить, что въ числѣ вышепоименованныхъ сатириковъ-стихотворцевъ не названы ни Некрасовъ, ни Добролюбовъ, ни А. Толстой. Они не подходятъ подъ общую норму. Ихъ выдѣляетъ прежде всего ихъ безспорно сильный и оригинальный талантъ, а затѣмъ и ихъ отношеніе, какъ сатириковъ, къ окружавшей ихъ дѣйствительности.

Сатирическій талантъ Некрасова — первоклассный, но только его стихи никакъ не могутъ быть отнесены въ раз-

рядъ «легкой» поэзіи. Правда, въ ранней юности, въ 40-хъ и въ началѣ 50-хъ годовъ и затѣмъ въ послѣдніе годы (1870—1877) жизни, Некрасовъ писалъ шутливые и остроумные памфлеты, но въ эпоху общественной бури онъ былъ такъ серьезно и такъ печально настроенъ, что сатира его, вмѣстѣ съ Щедринской, была крикомъ негодованія, злобною филиппикой, стономъ, воплемъ, чѣмъ угодно, но только не остроумною шуткой, хотя бы и съ очень полновѣснымъ содержаніемъ.

Въ своемъ журналѣ эту роль злого насмѣшника Некрасовъ предоставилъ Добролюбову, лишь изрѣдка приходя ему на помощь. И выборъ редактора былъ въ данномъ случаѣ необычайно удаченъ. «Свистокъ» и его герой Конрадъ Лиціеншвагеръ, онъ же и Яковъ Хамъ, и проч. были первыми піонерами настоящей общественной сатиры легкаго типа. Необычайная серьезность и дѣловитость Добролюбова не помѣшали расцвѣту его истинно-сатирическаго таланта. Такъ много задатковъ широкой талантливости было въ этомъ человѣкѣ, который за свою краткую жизнь успѣлъ только намекнуть на то, что онъ былъ призванъ сказать и сдѣлать.

Извѣстно, какую сенсацію произвелъ «Свистокъ» и сколь многихъ онъ озлобилъ. И было основаніе сердиться на него. Его никакъ нельзя было упрекнуть въ пустомъ шутовствѣ или въ легковѣсности—двухъ качествахъ, которыя въ другихъ сатирическихъ стихахъ могли всегда служить утѣшеніемъ для тѣхъ, въ кого сатира мѣтила. «Свистокъ» въ шутливой формѣ трактовалъ о самыхъ коренныхъ вопросахъ тогдашней общественной жизни и злилъ многихъ людей своими справедливыми нападками на тѣ ихъ убѣжденія и чаянія, которыя, какъ имъ казалось, стояли внѣ всякаго выстрѣла. Кто поднялъ на смѣхъ пресловутую «гласность», прикрывавшую все ту же традиціонную безгласность прежняго времени? Кто развѣнчалъ побѣдоносный «прогрессъ», о которомъ такъ много было крику среди толченія на одномъ мѣстѣ или попытокъ итти вспять? Кто «созрѣвшимъ» людямъ доказалъ, что они ребята? Кто мнимую ученость низвелъ на степень глупаго педантизма? Вообще, кто изъ современниковъ былъ такъ смѣлъ и кто былъ такъ зорокъ, что причину неустройствъ и золъ искалъ не во внѣшнихъ преградахъ, а въ самыхъ людяхъ, призванныхъ на работу? Всѣ эти—теперь далеко не новыя—мысли показались въ «Свисткѣ»

необычайно дерзкими именно потому, что въ нихъ была заключена правда темной стороны тогдашняго историческаго момента.

Въ сравненіи съ этими словами — съ виду столь шутливыми, а въ глубинѣ столь вѣскими—какъ мелки и незначительны должны были показаться преобладавшія тогда сатирическія обличенія взяточниковъ, неисправныхъ или слишкомъ старательныхъ администраторовъ, бюрократовъ, самодовольныхъ и недовольныхъ, невѣжественныхъ купцовъ, кулаковъ, эксплуататоровъ, ростовщиковъ, глупыхъ учителей, праздношатающихся кавалеровъ и дѣвицъ, гулякъ и камелій, хлыщей и либеральныхъ болтуновъ, т.-е. всѣхъ тѣхъ людей, отъ которыхъ можно было бы просто отмахнуться, если бы общественное обновленіе шло дѣйствительно по пути, указанному Добролюбовымъ.

Съ шутливыхъ пѣсенъ этого суроваго критика надо начинать исторію нашей общественной легкой сатиры, облеченной въ игривую стихотворную форму, такъ какъ онъ, трезвый прозаикъ, владѣлъ и этою формой въ совершенствѣ.

Прямыхъ продолжателей Добролюбовъ не имѣлъ (Щедринъ попыталъ свои силы въ томъ же «Свисткѣ», но стихи ему не давались), а всѣ его современники, какъ мы видѣли, избирали мишень болѣе легкую и близкую.

Исключеніемъ былъ лишь гр. А. Толстой.

Онъ и въ этой области своего поэтическаго творчества, какъ во всѣхъ другихъ, сумѣлъ сохранить за собой особую позицію. Она была уже потому особая, что на ней не было знамени опредѣленной партіи. Большинство, если не всѣ, изъ сатириковъ тѣхъ годовъ шли подъ флагомъ ясно либеральнымъ. Либеральна, если ужъ употреблять это измотавшееся слово, была и основная тенденція сатиры Толстого, но что-то въ ней было особое, отличное отъ общепринятаго образца, что́, вопреки всякой справедливости, утвердило во мнѣніи большинства понятіе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ ретроградного лагеря. Дѣйствительно, кто при словѣ «сатира Толстого» не вспоминаетъ прежде всего «Потока-Богатыря» и «Порой веселой мая»—этихъ двухъ самыхъ злыхъ пародій на нашихъ радикаловъ?

Такое ходячее мнѣніе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ, требуетъ не одной только оговорки, но и поправки.

IV.

Алексѣй Константиновичъ писалъ пародіи, шутки и сатиры при случаѣ и съ нѣкоторою небрежностью относился къ этому своему дару. Если собрать все имъ написанное въ этомъ родѣ, то составится сборничекъ довольно тощій.

При составленіи такого сборника надо, однако, соблюдать большую осторожность. Извѣстность, которую пріобрѣлъ Толстой, какъ сатирикъ, заставила многихъ приписывать ему стихи, въ которыхъ онъ былъ невиновенъ. Такъ случилось, между прочимъ, со знаменитою «Ѳедорушкой», имѣвшею большой успѣхъ въ нелегальной печати.

«Я попался,—писалъ Толстой,—между двухъ огней, обвиняемый Л... и Т... въ революціонныхъ мысляхъ, а сапожниками-фельетонистами—въ ретроградныхъ... Оба противоположныя мнѣнія согласны въ томъ, что я виновенъ. Я—который пахну фіалками!.. Вы требуете, чтобы я публично отрекся отъ нѣкоторыхъ стихотвореній, приписываемыхъ мнѣ. Неужто же это все «Ѳедорушка», которую мнѣ прислали съ вопросомъ — моя ли она, или нѣтъ? Нѣтъ, не моя; я никогда ничего не писалъ безъ подписи. Авторъ пишетъ дурные стихи и сваливаетъ ихъ мнѣ на плечи». (Письмо изъ Дрездена 1871 г., 20 декабря. «Вѣстникъ Европы» 1895, XI, стр. 184.)

Шуточные стихи и сатиры Толстого, появляясь неожиданно, въ сроки иногда другъ отъ друга очень отдаленные, не объединены какою-нибудь общею тенденціей. Авторъ не дѣлалъ ихъ орудіемъ борьбы серьезной и обдуманной. Онъ шутилъ ими, такъ какъ, по собственному признанію, былъ «шутливъ отъ природы», но, какъ у человѣка большого ума и остраго взгляда, его набѣжавшая шутка была часто и острѣе и сильнѣе, чѣмъ сознательно написанная и продуманная сатира любого присяжнаго остроумца-обличителя.

Будущій собиратель и издатель шуточныхъ стиховъ Толстого столкнется поэтому съ нѣкоторою трудностью, если пожелаетъ сгруппировать ихъ по содержанію, не придерживаясь внѣшняго хронологическаго порядка. Группировать плоды художественнаго каприза, дѣйствительно, нелегко. Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ съ перваго взгляда смысла не доищешься; есть и такіе, въ которыхъ за видимою безсмыслицей какъ-будто что-то и кроется.

Оставимъ пока ихъ въ сторонѣ и обратимся къ тѣмъ, смыслъ которыхъ вполнѣ ясенъ.

V.

. . . . . .
Языкъ держать привыкъ я строго
И повторяю каждый день:
Нѣтъ власти, аще не отъ Бога.
Не намъ понять высокихъ мѣръ,
Творцомъ внушаемыхъ вельможамъ;
Мы изъ исторіи примѣръ
На этотъ случай выбрать можемъ:
Передъ Шуваловымъ свой стягъ
Склонялъ великій Ломоносовъ,
Я жъ — другъ властей и вѣчный врагъ
Такъ-называемыхъ вопросовъ [2]).

«Врагъ такъ-называемыхъ вопросовъ», не желающій критиковать распоряженія начальства, прикинулся большимъ скромникомъ. Именно, по самымъ знаменательнымъ вопросамъ своего времени наговорилъ Толстой много дерзостей и тѣмъ людямъ, которые, яко власть имущіе, эти вопросы рѣшали, и тѣмъ, которые не желали слышать ни о какомъ рѣшеніи, не отъ ихъ мудрости исходящемъ.

Толстому въ извѣстномъ лагерѣ всегда ставили въ упрекъ его отношеніе къ молодому поколѣнію прогрессистовъ 60-хъ годовъ. Упрекъ кажется вполнѣ основательнымъ, если не считаться съ условіями того времени, съ особымъ фанатичнымъ культомъ поэзіи, за права которой Толстой, собственно, и заступался, и—главное—если сбросить со счетовъ всѣ тѣ стихотворенія, въ которыхъ нашъ сатирикъ расправляется уже не съ молодежью, а съ ея самыми опредѣленными врагами. Если же со всѣми этими фактами посчитаться, то, можетъ-быть, антипрогрессивные стихи Толстого окажутся совсѣмъ не столь виновными въ «непониманіи» серьезныхъ сторонъ тогдашняго общественнаго движенія.

Эти стихи столь извѣстны, что останавливаться на нихъ долго нѣтъ нужды. Да и всѣхъ-то этихъ стиховъ—всего двѣ баллады и одна пѣсня.

---

[2]) Изъ шуточнаго стихотворенія: «Посланіе къ Ѳ. М. Толстому». Красный-Рогъ, 1869, 14 января. «Русская Старина», 1887, т. LV, 144—5.

Баллада Порой веселой мая заслужила вполнѣ справедливыя порицанія. Авторъ хотѣлъ поразить «россійскую коммуну» и разсказалъ ни съ чѣмъ несообразную сказку, въ которой вмѣсто острой мысли была лишь «легкая» мысль или просто легкомысліе. Свести обвиненія противъ матеріалистовъ, нигилистовъ, демагоговъ и анархистовъ къ тому, что эти люди хотятъ загадить все изящное въ жизни во имя общаго блаженства,—значило взвести на нихъ большую напраслину, точно такъ же какъ рекомендовать орденъ Станислава, какъ панацею противъ ихъ разрушительныхъ тенденцій, значило сказать непристойность.

Впрочемъ, имѣемъ ли мы право относиться къ этой балладѣ серьезно, какъ къ ней обыкновенно относятся, когда порицаютъ за нее Толстого? Можетъ-быть, это — самая обыкновенная бутада безъ всякой претензіи, шаржъ, прочитанный въ дружеской компаніи. Но одно въ этой балладѣ характерно, это—то, что сатирикъ не нашелъ иного обвиненія для ненавистныхъ ему людей, какъ обвиненіе во враждѣ къ искусству, точно у нихъ не было иныхъ грѣховъ, гораздо болѣе тяжкихъ въ общественномъ смыслѣ. Имѣй Толстой въ виду серьезную выходку противъ радикаловъ, онъ по пустякамъ не сталъ бы къ нимъ привязываться, потому что извѣстно, что всѣ ультра-радикалы, уравнители и демагоги на Западѣ никогда не отрицали культурнаго значенія эстетическихъ эмоцій человѣка.

Несравненно серьезнѣе и злѣе и умнѣе, чѣмъ эта баллада, другая—извѣстный Потокъ,—въ свое время пользовавшаяся огромнымъ успѣхомъ [3]).

Балладу эту нельзя считать чисто-ретроградною по основной ея мысли. Она не имѣетъ никакого цвѣта и одинаково враждебно относится ко всѣмъ яркимъ краскамъ. Деспотизмъ и консерватизмъ въ ней осмѣяны такъ же злостно и остроумно, какъ и крайности либерализма худого тона. Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, обвинить автора въ ретроградномъ образѣ мыслей только за то, что онъ не желаетъ видѣть въ отъявленномъ негодяѣ страдающаго меньшого брата, не желаетъ согласиться съ тѣмъ, что Господь Богъ есть

---

[3]) «Онъ имѣетъ громадный успѣхъ во всѣхъ слояхъ общества». Письма Б. М. Маркевича къ А. К. Толстому, 119.

видъ кислорода, не желаетъ на брюхѣ лежать передъ мужикомъ, и въ дѣвицахъ-медичкахъ желалъ бы найти больше вниманія къ ихъ туалету. Обвинить уже потому нельзя, что рядомъ съ этимъ либеральнымъ Петербургомъ достается и «ханской» Москвѣ не меньше, и самъ авторъ откровенно признается, что онъ—сторонникъ и суда присяжныхъ, и мужика, который не пропиваетъ урожая, и сторонникъ здраваго русскаго вѣча. Онъ говоритъ даже больше: онъ соглашается, что и чепуху подчасъ пороть можно и что въ этой ченухѣ попадаются иной разъ жемчужныя зерна, т.-е. онъ дѣлаетъ уступку, которую никогда не сдѣлалъ бы озлобленный сатирикъ и которую обязанъ сдѣлать справедливый историкъ.

Извѣстное стихотвореніе Противъ теченія, на которое также указываютъ, какъ на собственное признаніе автора въ томъ, что онъ плылъ противъ теченій своего времени, сатирой названо быть не можетъ. Это—прелестный гимнъ искусству въ мажорномъ тонѣ, и именно въ этомъ стихотвореніи раскрывается источникъ всего того раздраженія, которое охватывало поэта, когда онъ присматривался къ молодому поколѣнію своего времени. Онъ былъ сердитъ на него, какъ художникъ, какъ прирожденный, фанатичный эстетикъ и философъ-идеалистъ, который боялся (совсѣмъ, впрочемъ, неосновательно) за судьбу «безконечныхъ» началъ въ сердцѣ и сознаніи человѣка, слишкомъ занятаго будничными практическими вопросами.

Любопытно, что это стихотвореніе Толстого стало любимымъ номеромъ на программахъ разныхъ литературно-музыкальныхъ вечеровъ, устраиваемыхъ молодежью. Совсѣмъ не замѣчая основной тенденціи стихотворенія (такъ она невинна), молодежь желала слышать въ немъ одинъ лишь призывъ къ борьбѣ за свои идеалы и потому всегда рукоплескала словамъ:

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею.
На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
Выйдемъ торжественно съ нашей святынею.
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное,
Вѣрою въ наше святое значеніе—
Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное
Противъ теченія.

Быстрый подъемъ радикальной мысли и, главное, темпе-
амента огорчалъ Толстого и сердилъ, во-первыхъ, какъ не-
ріятный симптомъ некритическаго и несвободнаго отноше-
ія людей къ теоріи, которую они исповѣдуютъ, и, во-
горыхъ, главнымъ образомъ, какъ показатель упадка въ
олодомъ поколѣніи эстетическаго пониманія и чувства.

Что Толстой, именно какъ художникъ, нападалъ на ра-
ікаловъ, уважалъ ихъ убѣжденія, но требовалъ критиче-
каго и свободнаго къ нимъ отношенія,—это онъ высказалъ
іень ясно въ одномъ письмѣ къ Я. П. Полонскому. Дѣло
детъ о томъ, какъ нѣмцы и какъ наша молодежь относятся
ь одному и тому же ученію.

«Матеріалистическое направленіе здѣсь слабо,—пишетъ
олстой.—Надъ Бюхнеромъ ученые смѣются. Я бы желалъ,
обы наши нигилисты послушали здѣшнихъ ученыхъ.
зывы ихъ о матеріализмѣ немножко бы отрезвили извѣст-
ій вамъ классъ людей... Когда я спросилъ, почему у Бюх-
ра столько изданій, мнѣ отвѣчали: «Извините за неучти-
ю правду, но его изданія только и идутъ въ Россію и въ
ингрію, въ полуобразованныя страны, а у насъ мода на этихъ
сподъ давно прошла, мы для матеріализма слишкомъ серьез-
ы и слишкомъ уважаемъ науку, которая не должна перестуа-
ть свои границы». Вотъ разница между людьми дѣйстви-
льно либеральными и дѣйствительно учеными—и тѣми, ко-
рыхъ можно бы назвать у насъ: les parvenus de la science
ı de libéralisme [4]).

Очевидно, что именно это уваженіе къ серьезности, съ
кой человѣкъ относится къ жизни, заставило Толстого на-
исать при другомъ случаѣ такія не совсѣмъ въ его устахъ
ычныя строки:

«Какіе звѣри,—пишетъ онъ изъ Карлсбада въ 1871 г.,—
ı, которые обидѣлись на Базарова. Они должны были бы
оставить свѣчку Тургеневу за то, что онъ выставилъ ихъ
ı такомъ прекрасномъ видѣ. Если бы я встрѣтился съ Ба-
ровымъ, я увѣренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря
ı то, что мы продолжали бы спорить» [5]).

Вѣроятно, однако, что онъ сталъ бы спорить съ База-
ровымъ обо всемъ, но только не о Пушкинѣ и не объ искус-

---

[4]) Письмо изъ Дрездена, 1868—71, «Русская Старина», 1884, XI, 195—6.
[5]) «Вѣстникъ Европы», 1897, VII, 106.

ствѣ. Онъ, какъ видно изъ его писемъ, не могъ объ этомъ говорить спокойно съ людьми даже менѣе радикальными. «Вся наша критика находится въ рукахъ одной клики, за рѣдкими и робкими исключеніями,—пишетъ онъ раздраженно въ 1869 г.—Девизъ этой клики—«война искусству». Будемъ обходиться и безъ ихъ мнѣнія» [6]).

И годомъ раньше онъ ту же мысль высказывалъ въ письмѣ къ Полонскому. «Мы съ вами—не послѣдніе могикане искусства,—писалъ онъ:—оно не умретъ и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались разные Чернышевскіе, Писаревы, Стасовы (?), Корфы (?) и такъ далѣе, кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно—роскошь и отнимаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ» [7]).

И вездѣ и всегда такъ. Въ Толстомъ, когда онъ говоритъ о своемъ времени, возмущенъ прежде всего, и почти исключительно, художникъ. Публициста и политика въ его рѣчахъ совсѣмъ не слышно. Судитъ—поэтъ, онъ же и негодуетъ и любитъ.

Когда его хорошій пріятель, и даже другъ, Болеславъ Маркевичъ—авторъ романовъ съ несомнѣнною ретроградною тенденціей и одинъ изъ непримиримыхъ обличителей «нигилистовъ»—спрашивалъ Толстого, какое на него впечатлѣніе произвело одно его твореніе, Толстой не пошелъ дальше чисто-литературной оцѣнки. Онъ говорилъ Маркевичу, что его «нигилистъ»—лицо, которое «живетъ и дышитъ», что онъ далъ образчикъ отличнаго физіологическаго этюда, но что слишкомъ много показалъ свою собственную физіономію и не былъ достаточно «объективенъ» [8]).

Когда Толстому попался въ руки романъ Клюшникова «Марево»—опять-таки романъ съ ясною обличительною и ретроградною тенденціей,—этотъ въ художественномъ отношеніи слабый разсказъ раздражилъ его необычайно: «Читаю теперь «Марево»,—пишетъ онъ.—Это чортъ знаетъ что́. И талантъ есть, и нѣкоторыя удачныя описанія, и кое-какія хорошія выраженія, рядомъ съ сильнымъ лакействомъ... Все это вер-

---

[6]) «Вѣстникъ Европы», 1895, XI, 166.

[7]) «Русская Старина», 1884, XI, 196.

[8]) «Вѣстникъ Европы», 1895, X, 649; 1897, VI, 633.

тся на недавнихъ событіяхъ, и потому какъ-будто представляетъ какой-то интересъ. Авторъ перещеголялъ даже Коновскую новостью языка... Клюшниковъ — человѣкъ съ стоящимъ талантомъ, но онъ имъ орудуетъ какъ акрогъ» [9]).

Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ виденъ только художникъ, нитель стиля и образовъ, а никакъ не публицистъ, еще мпатизирующій будто бы основной идеѣ такихъ боевыхъ мановъ.

Иногда, впрочемъ, нашъ эстетикъ, когда ему вдругъ взначай случилось набрести на «нигилиста», пугался и говъ былъ въ этомъ таинственномъ незнакомцѣ (а «нигистъ» и въ 60-хъ годахъ былъ для многихъ таинственной чностью) видѣть нѣчто страшное и стихійное. Есть въ о перепискѣ по этому поводу очень характерныя строки, которыхъ такъ и чувствуешь, какъ эстетикъ содрогается редъ фантомомъ «нигилизма». «Шесть часовъ утра,—пиетъ онъ;—я только-что выходилъ на балконъ, но ничего могъ разсмотрѣть. Такой туманъ, что онъ даже помѣшалъ Ромео разсмотрѣть Джульетту на полъ-аршина разстояя. Пѣтухи на селѣ продолжаютъ орать вдалекѣ, но они чего этимъ не доказываютъ. Точно конецъ свѣта или ифельгеймъ скандинавовъ. Ни дерева ни повара на кухнѣ. ичего. Это — идеалъ нигилистовъ; къ тому же, что-то сые падаетъ вамъ на голову» [10]).

Но кто они были, эти нигилисты?—разрѣшено спросить, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, пришлось бы написать бое историческое изслѣдованіе. Одно только извѣстно: нигилизмъ» пугалъ современниковъ и пугалъ тѣмъ сильбе, чѣмъ шире были толкованія этого загадочнаго поняя. Толстой стоялъ не одиноко, когда съ опасеніемъ слѣлъ за развитіемъ ультра-радикальныхъ взглядовъ и строеній, которые какъ-будто предвѣщали, ну если не онецъ свѣта, то вихрь отрицанія и разрушенія. И не одни нсерваторы и поклонники уютной косности раздѣляли съ имъ эти опасенія.

Чтобы вѣрно судить о томъ положеніи, какое Толстой нялъ по отношенію къ крайнимъ нашимъ партіямъ въ

[9]) Письмо отъ 11-го іюля 1864, изъ Карлсбада. «Вѣстникъ Европы», 97, VI, 619.

[10]) Письмо 1869 г. «Вѣстникъ Европы», 1895 г., XI, 172—3.

60-хъ годахъ, надо держать въ умѣ нѣсколько историческихъ справокъ; надо вспомнить, напримѣръ, какъ Герценъ отнесся къ «желчевикамъ» и какія колкости онъ говорилъ Чернышевскому, какъ Кавелинъ сравнивалъ Добролюбова съ очковою змѣей, какъ Тургеневъ непристойно бранилъ того же Чернышевскаго и Добролюбова, какъ, наконецъ, Салтыковъ расправлялся съ «вислоухими» изъ «Русскаго Слова»...

Если не упускать изъ виду этихъ историческихъ справокъ, то и сатиры Толстого не будутъ нуждаться въ оправданіи.

VI.

Но эти справки забываются; забываются и тѣ стихотворенія автора, тѣ его шутки и сатиры, которыя бьютъ по консервативному лагерю. Эти сатиры почему-то не включены въ полное собраніе его сочиненій, хотя большинство ихъ и напечатано въ Россіи въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. А перепечатать ихъ нужно, хотя бы во имя безпристрастія.

Политическая и общественная сатира Толстого захватываетъ сферу довольно широкую. Она мѣтитъ и въ нашъ государственный порядокъ, въ его цѣломъ, и въ опору этого порядка—въ бюрократическую машину. Конечно, кругъ, въ которомъ поэтъ вращался, и возможность получить приглашеніе прочитать свои новые стихи въ аудиторіи особъ очень высоко поставленныхъ—держали языкъ поэта нѣсколько на привязи. Его сатира необычайно корректна и деликатна въ своихъ выраженіяхъ и очень тонка въ своихъ намекахъ. Но отъ этого сущность ея и сила не страдаютъ.

Припомнимъ нѣкоторыя изъ этихъ шутокъ.

Сколь многіе утѣшали себя, въ тѣ годы «прогресса», нашею молодостью и видами на блестящее будущее, которое должно искупить весь безпорядокъ настоящаго! Это была ходкая тогда тема. Она имѣла за собою долю правды, когда о ней говорили люди живого труда. Но, вѣдь, были другіе люди, которые на такой надеждѣ готовы были уснуть, какъ на мягкой подушкѣ: отчего было не разбудить этихъ людей, хотя бы и очень радикальнымъ способомъ:

Сидитъ подъ балдахиномъ
Китаецъ Дцу-Кинь-Дцинь
И молвитъ мандаринамъ:
«Я — главный мандаринъ.
Велѣлъ владыко края
Мнѣ вашъ спросить совѣтъ,

Зачѣмъ у насъ въ Китаѣ
Досель порядка нѣтъ?»
Китайцы всѣ присѣли,
Задами потрясли,
Гласятъ: «Затѣмъ доселѣ
Порядка нѣтъ въ земли,
Что мы, вѣдь, очень млады,
Намъ тысячъ пять лишь лѣтъ,—
Затѣмъ у насъ нѣтъ складу,
Затѣмъ порядку нѣтъ.
Клянемся разнымъ чаемъ,
И желтымъ и простымъ,
Мы много обѣщаемъ
И много совершимъ».
«Мнѣ ваши рѣчи милы,—
Отвѣтилъ Дцу-Кинь-Дцинь,—
Я убѣждаюсь силой
Столь явственныхъ причинъ.
Подумаешь, пять тысячъ,
Пять тысячъ только лѣтъ!»
И приказалъ онъ высѣчь
Немедля весь совѣтъ [11]).

Другая шутка съ такою же граціей старалась разсѣять ге менѣе опасную иллюзію—вѣру въ наше, какъ говорилось, культуртрегерство. Каткову, Черкасскому, Самарину и Маркевичу посвящена эта милая пѣсня «объ арапахъ» [12]).

Друзья, ура! Въ единство
Сплотимъ Святую Русь.
Различій, какъ безчинства,
Народныхъ я боюсь.

Катковъ сказалъ, что, дескать,
Терпѣть ихъ — это грѣхъ;
Ихъ надо тискать, тискать
Въ московскій обликъ всѣхъ.

Ядро у насъ—славяне,
Но есть и вотяки,
Башкирцы и армяне
И даже калмыки,

Есть также и грузины,
Конвоя цвѣтъ и честь,
Есть латыши и финны
И шведы также есть.

Недавно и ташкентцы
Живутъ у насъ въ плѣну;
Признаться ль?.. Есть и нѣмцы,
Но это entre-nous.

Страшась съ Катковымъ драки,
Я на ухо шепну,
Что есть у насъ поляки,
Но также entre-nous.

И многими другими
Обиленъ нашъ запасъ;
Какъ жаль, что между ними
Араповъ нѣтъ у насъ!

Тогда бы князь Черкасской,
Усердіемъ великъ,
Имъ мазалъ бѣлой краской
Ихъ неуказный ликъ.

Съ усердьемъ столь же смѣлымъ
И съ помощью воды
Самаринъ теръ бы мѣломъ
Ихъ черные зады.

Катковъ, нашъ герцогъ Альба,
Имъ удлинялъ бы носъ;
Маркевичъ восклицалъ бы:
«Осанна... Аксіосъ!..»

А можетъ-быть, мы захотимъ послушать, какъ нашъ литераторъ дерзалъ писать своему начальству?—тогда лучше

[11]) Въ письмѣ отъ 15 апрѣля 1869 г. «Вѣстникъ Европы», 1895 г. 657 — 8.

[12]) «Русская Старина», 1887, LIII, 512—514. Сравн. также «Русская Старина», 1886, X, 233—4. Въ этой редакціи она названа «Единство».

всего заглянуть въ посланіе Толстого къ М. Н. Лонгинову «о дарвинизмѣ», съ которымъ цензура никакъ не хотѣла согласиться:

Способъ, какъ творилъ Создатель,
Что́ считалъ Онъ болѣ кстати,—
Знать не можетъ предсѣдатель
Комитета о печати.

Ограничивать такъ смѣло
Всесторонность Божьей власти,—
Вѣдь, такое, Миша, дѣло
Пахнетъ ересью отчасти.

Вѣдь, подобные примѣры
Подавать неосторожно,
И тебя за скудость вѣры
Въ Соловки сослать бы можно...

Или вотъ еще одинъ образчикъ:—Наука

Льетъ на міръ потоки свѣта
И, слѣдя, какъ въ тьмѣ лазурной
Ходятъ Божіи планеты
Безъ инструкціи цензурной,—

Кажетъ намъ, какъ та же сила,
Вся въ иную плоть одѣта,
Въ область разума вступила,
Не спросясь у комитета.

Брось же, Миша, устрашенья!
У науки нравъ не робкій,
Не заткнешь ея теченья
Ты своей дрянною пробкой.

Та же убійственная острота при удивительной деликатности и въ сатирахъ: «Сонъ статскаго совѣтника Попова» и «Русская исторія отъ Гостомысла».

«Сонъ Попова»—лучшая и самая художественная изъ всѣхъ нашихъ сатиръ-стихотвореній, направленныхъ противъ бюрократіи. Она, кромѣ того,—историческій документъ, такъ какъ главное дѣйствующее лицо списано съ натуры. Какъ часто, въ самомъ дѣлѣ, можно было подслушать въ тѣ годы такія «ясныя» рѣчи либеральнаго начальства:

Искать себѣ не будемъ идеала,
Ни основныхъ общественныхъ началъ
Въ Америкѣ. Америка отстала:
Въ ней собственность царитъ и капиталъ.
Британія строй жизни запятнала
Законностью. А я ужъ доказалъ—

Законность есть народное стѣсненье,
Гнуснѣйшее межъ всѣми преступленье!
Нѣтъ, господа! Россіи предстоитъ,
Соединивъ прошедшее съ грядущимъ,
Создать, коль смѣю выразиться, видъ,
Который называется присущимъ
Всѣмъ временамъ, и, ставъ на свой гранитъ,
Имущимъ, такъ-сказать, и неимущимъ
Открыть родникъ взаимнаго труда...
Надѣюсь, вамъ понятно, господа?

страшное Третье Отдѣленіе, въ первый разъ попа-
ее на страницы литературы! Толстой былъ единствен-
нашимъ сатирикомъ, который не остановился въ мол-
передъ дверьми этого учрежденія. До насъ донеслись
рѣчи, которыя никогда не предназначались для пе-
Лазоревый полковникъ, утирая слезы, говорилъ не-
ному Попову, заподозрѣнному въ либерализмѣ:

Но, юный другъ, для набожныхъ сердецъ
Къ отверженнымъ не можетъ быть презрѣнья,
И я хочу вамъ быть второй отецъ,
Хочу вамъ дать для жизни наставленье.
Заблудшихъ такъ приводимъ мы овецъ
Со дна трущобъ на чистый путь спасенья.
Откройтесь мнѣ, равно какъ на духу:
Чтó привело васъ къ этому грѣху?
Конечно, вы пришли къ нему не сами,
Характеръ вашъ невиненъ, чистъ и прямъ.
Я помню, какъ дитей, за мотыльками
Порхали вы средь кашки по лугамъ...
Нѣтъ, юный другъ, вы ложными друзьями
Завлечены. Откройте же ихъ намъ.
Кто вольнодумцы? Всѣхъ ихъ назовите
И собственную участь облегчите.

несчастный Поповъ не устоялъ:

Пошелъ строчить (какъ люди въ страхѣ гадки!)
Именъ невинныхъ цѣлые десятки:
Явились тутъ на нѣсколькихъ листахъ
Какой-то Шмидтъ, два брата Шилаковы,
Зерцаловъ, Палкинъ, Савичъ, Розенбахъ,
Потенчиковъ, Гудимъ-Бодай-Корова,
Делаверганжъ, Шульгинъ, Страженко, Драхъ,
Грай-Жеребецъ, Бабковъ, Ильицъ, Багровый,
Мадамъ Гриневичъ, Глазовъ, Рыбинъ, Штихъ,
Бурдюкъ-Лишай—и множество другихъ.
Поповъ строчилъ съ плеча и безъ оглядки.

Попались въ списки лучшіе друзья...
Я повторю: «Какъ люди въ страхѣ гадки:
Начнутъ, какъ Богъ, а кончатъ, какъ свинья!»

Но, къ счастію, всѣ друзья Попова остались цѣлы. Все это—и безштанный его либерализмъ, и пріемная министра и лазоревый полковникъ, и недостойное поведеніе Попова въ Третьемъ Отдѣленіи,—все было лишь сонъ, смѣшной, нелѣпый сонъ. Но чей же сонъ? Быть-можетъ, Попова, но отнюдь не русскаго обывателя. Для него всѣ эти фантомы были дѣйствительностью.

Сатира Толстого иногда расширялась до цѣлой исторической картины, и художникъ, вопреки правилу Кузьмы Пруткова, хотѣлъ «объять необъятное». Въ 83-хъ куплетахъ начерталъ онъ русскую исторію отъ Гостомысла до Тимашева—своего рода стихотворный фокусъ. Онъ имѣетъ свои литературныя достоинства въ нѣкоторыхъ куплетахъ, въ которыхъ набросаны характеристики русскихъ государей, но въ общемъ сатира слаба именно въ виду отсутствія въ этихъ портретахъ рѣзкихъ чертъ того или другого характера.

Наиболѣе удачны характеристики Петра и Екатерины:

Царь Петръ любилъ порядокъ,
Почти какъ царь Иванъ,
И также былъ онъ сладокъ,
Порой бывалъ и пьянъ.
Онъ молвилъ: «Мнѣ васъ жалко,
Вы сгинете въ конецъ,
Но у меня есть палка,
И я вамъ всѣмъ отецъ.
Не далѣе какъ къ святкамъ
Я вамъ порядокъ дамъ».
И тотчасъ за порядкомъ
Уѣхалъ въ Амстердамъ.
Вернувшися оттуда,
Онъ гладко насъ обрилъ,
А къ святкамъ такъ, что чудо,
Въ голландцевъ нарядилъ.
Но это, впрочемъ, въ шутку,—
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.
Хотя силенъ ужъ очень,
Быть-можетъ, былъ пріемъ;
А все жъ довольно проченъ
Порядокъ былъ при немъ...
. . . . . .
Веселая царица
Была Елисаветъ:
Поетъ и веселится,
Порядку только нѣтъ.
Какая жъ тутъ причина
И гдѣ же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.
«Madame, при васъ на диво
Порядокъ зацвѣтетъ,—
Писали ей учтиво
Вольтеръ и Дидеротъ,—
Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорѣе дать свободу,
Скорѣй свободу дать».
«Messieurs,—имъ возразила
Она,—vous me comblez!»
И тотчасъ прикрѣпила
Украинцевъ къ землѣ.

Впрочемъ, самое жало сатиры заключается не въ этихъ историческихъ портретахъ, а въ припѣвѣ, который подъ каждымъ изъ нихъ подписанъ: «Земля наша обильна, порядка жъ нѣтъ какъ нѣтъ!» На этихъ словахъ обрывается и русская исторія въ 1868 году, когда «порядокъ былъ водворенъ» Тимашевымъ.

Но легко догадаться, что и послѣ Тимашева пѣсню можно было начать пѣть сначала.

VII.

Эти образцы политической и общественной сатиры Толстого показываютъ ясно, насколько вѣренъ остался онъ своему принципу свободы, издѣваясь надъ бюрократами и правителями и въ то же время глумясь надъ крайними радикалами. «Двухъ становъ не боецъ», онъ и здѣсь стоялъ на нейтральной позиціи, тѣмъ болѣе, что къ сатирѣ своей онъ относился любовно, но не со страстью.

Его сатиры, дѣйствительно, продиктованы ему не гнѣвомъ, а его веселымъ нравомъ, и если онѣ, тѣмъ не менѣе, полны смысла, то потому, что писалъ ихъ выдающійся по уму человѣкъ.

Этотъ умъ блеститъ и въ его чисто шуточныхъ стихотвореніяхъ.

Толстой писалъ ихъ много. Нѣкоторыя удостоились большой извѣстности, другія схоронены въ его частной перепискѣ. О нихъ нужно вспомнить.

Наиболѣе популярное изъ этихъ стихотвореній—извѣстная баллада о камергерѣ Деларю. Такъ какъ она не вошла въ полное собраніе стихотвореній поэта, а между тѣмъ, подала поводъ другому большому остроумцу, Владимиру Соловьеву, высказать нѣсколько необычайно вѣрныхъ сужденій о шуткѣ Толстого, то мы эту балладу напомнимъ:

Вонзилъ кинжалъ убійца нечестивый
Въ грудь Деларю.
Тотъ, шляпу снявъ, сказалъ ему учтиво:
«Благодарю».
Тутъ въ лѣвый бокъ ему кинжалъ ужасный
Злодѣй вогналъ,
А Деларю сказалъ: «Какой прекрасный
У васъ кинжалъ!»
Тогда злодѣй, къ нему зашедши справа,

Его пронзилъ,
А Деларю съ улыбкою лукавой
Лишь погрозилъ.
Истыкалъ тутъ злодѣй ему, пронзая,
Всѣ тѣлеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
Къ намъ въ три часа».
Злодѣй палъ ницъ и, слезъ проливши много,
Дрожалъ какъ листъ,
А Деларю: «Ахъ, встаньте, ради Бога!
Здѣсь полъ нечистъ!»
Но все у ногъ его въ сердечной мукѣ
Злодѣй рыдалъ,
А Деларю сказалъ, разставя руки:
«Не ожидалъ!
Возможно ль? Какъ? Рыдать съ такою силой?
По пустякамъ?..
Я вамъ аренду выхлопочу, милый,—
Аренду вамъ!
Черезъ плечо дадутъ вамъ Станислава,
Другимъ въ примѣръ.
Я дать совѣтъ властямъ имѣю право:
Я камергеръ!
Хотите дочь мою просватать, Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вамъ тысячъ сто.
А вотъ пока вамъ мой портретъ на память,—
Пріязни въ знакъ.
Я не успѣлъ его еще обрамить,—
Пріймите такъ!»
Тутъ ѣдокъ сталъ и даже горче перца
Злодѣя видъ.
Добра за зло испорченное сердце—
Ахъ! не проститъ.
Высокій духъ посредственность тревожитъ,
Тьмѣ страшенъ свѣтъ.
Портретъ еще простить убійца можетъ,
Аренду жъ нѣтъ.
Зажглась въ злодѣѣ зависти отрава
Такъ горячо,
Что, дишь надѣлъ мерзавецъ Станислава
Черезъ плечо,—
Онъ окунулъ со злобою безбожной
Кинжалъ свой въ ядъ
И, къ Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга въ задъ!
Тотъ на полъ легъ, не въ силахъ, въ страшныхъ боляхъ
На кресло сѣсть.

Межъ тѣмъ злодѣй, отнявъ на антресоляхъ
У Дуни честь,—
Бѣжалъ въ Тамбовъ, гдѣ былъ, какъ губернаторъ,
Весьма любимъ.
Потомъ въ Москвѣ, какъ ревностный сенаторъ,
Былъ всѣми чтимъ.
Потомъ онъ членомъ сдѣлался совѣта
Въ короткій срокъ...
Какой примѣръ для насъ являетъ это,
Какой урокъ!

Увѣряю васъ,—начинаетъ шутить Вл. С. Соловьевъ [13]),— отя это фарсъ по формѣ, но съ очень серьезнымъ и, ое, правдивымъ реальнымъ содержаніемъ. Во всякомъ ѣ, дѣйствительное отношеніе между добротою и зло- ъ человѣческой жизни изображено этими шуточными твореніями гораздо лучше, чѣмъ я могъ бы его изобра- своею серьезною прозой. И у меня нѣтъ ни малѣйшаго нія, что когда герои иныхъ всемірно знаменитыхъ ро- ъ, искусно и серьезно распахивающихъ психологиче- черноземъ, будутъ только литературнымъ воспомина- для книжниковъ,—этотъ фарсъ, въ смѣшныхъ и дико атурныхъ чертахъ затронувшій подпочвенную глу- нравственнаго вопроса, сохранитъ всю свою художествен- и философскую правду... Деларю—живой человѣкъ, со человѣческими слабостями и тщеславіемъ и стяжа- остью, а его фантастическая непроницаемость для зло- аго кинжала есть лишь очевидный символъ его без- льнаго добродушія. Также «злодѣй»—вовсе не ходячій ктъ порока, а обыкновенная смѣсь добрыхъ и злыхъ твъ; но у него зло зависти засѣло въ самой глубинѣ и вытѣснило все доброе на душевную эпидерму, такъ- ъ, гдѣ доброта приняла видъ очень живой, но поверх- ой чувствительности... Не добротѣ Деларю завидуетъ й,— онъ, вѣдь, и самъ можетъ быть добрымъ,—развѣ е чувствовалъ своей доброты, когда «рыдалъ въ сердеч- укѣ»?—нѣтъ, онъ завидуетъ именно недостижимой для ездонности и простой серьезности этой доброты... Развѣ реально, развѣ не такъ бываетъ въ живой дѣйстви- ости? Отъ одной и той же влаги живительнаго дождя ъ и благотворныя силы въ цѣлебныхъ травахъ

---

[13]) «Три разговора». Сочиненія, VIII, 532—4.

и ядъ—въ ядовитыхъ. Также и дѣйствительное благодѣяніе, въ концѣ концовъ, увеличиваетъ добро въ добромъ и зло въ зломъ. Такъ должны ли мы, имѣемъ ли мы право всегда и безъ разбора давать волю своимъ добрымъ чувствамъ? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающихъ изъ доброй лейки ядовитыя травы въ саду, гдѣ гуляютъ ихъ дѣти? Дуня-то за что погибла, я васъ спрашиваю?»

Конечно, все это — бутада самой остроумной грани, и мысль Толстого, когда онъ писалъ свою балладу, никогда не шла такъ далеко въ своихъ выводахъ, какъ мысль его истолкователя. Но одинъ тотъ фактъ, что такая остроумная интерпретація возможна, указываетъ на необычайную полновѣсность шутки. Тѣмъ хорошая шутка и бываетъ цѣнна, что изъ нея можно сдѣлать серьезный выводъ: серьезная проблема жизни показана своею изнанкой.

Не легко найти такую изнанку жизни въ другомъ, тоже очень извѣстномъ шуточномъ стихотвореніи Толстого: «Бунтъ въ Ватиканѣ». «Сегодня буду читать (во дворцѣ) «Сонъ Попова»,—пишетъ Толстой своей женѣ.—Императрица (Марія Александровна) просила меня серьезно ей прочесть «Бунтъ въ Ватиканѣ»; а такъ какъ я отказалъ наотрѣзъ, а m-me M. такъ настаивала, чтобы я ей его прочелъ, то я обѣщалъ ей это сдѣлать въ темной комнатѣ» [14])...

Но если бы нашелся остроумный истолкователь, то онъ могъ бы найти смыслъ и въ томъ невѣроятномъ скандалѣ, который разыгрался въ Ватиканѣ, когда папскій хоръ кастратовъ пожелалъ уравнять себя во всѣхъ правахъ, обязанностяхъ и состояніяхъ со своимъ прямымъ начальствомъ и не безъ нѣкоторого нравственнаго права спрашивалъ себя, почему бы самому папѣ не пѣть кантаты нѣжнымъ голосомъ?

Вообще, большого удовольствія, и притомъ эстетическаго, лишенъ читатель, который теперь развѣ только случайно можетъ услыхать ту или другую шутку Толстого или натолкнуться на нее въ какомъ-нибудь періодическомъ изданіи. Много веселыхъ минутъ могъ бы онъ провести за этимъ чтеніемъ, и оно вызвало бы въ немъ одинъ лишь смѣхъ, самый добродушный и невинный. Но передъ нѣкоторыми

---

[14]) «А ты все-таки не будешь знать, что́ такое «Бунтъ въ Ватиканѣ». «Письма Толстого изъ S.-Remo 24-го и 25-го января 1875 г.». «Вѣстникъ Европы», 1897, VII, 122.

стихотвореніями читатель все же остановился бы въ раздумьѣ, пораженный однимъ страннымъ впечатлѣніемъ.

Есть стихотворенія очень смѣшныя, но положительно недоступныя пониманію; ключъ ли къ нимъ утратился, или они сочинены вообще во славу безсмыслицы, но только всякій комментаторъ рискуетъ очутиться въ глупомъ положеніи, если начнетъ изощрять свое остроуміе въ ихъ серьезномъ толкованіи.

Прочитаетъ онъ, напримѣръ, такую шутку:

«Вѣрь мнѣ, докторъ, кромѣ шутки,—
Говорилъ разъ понамарь,—
Отъ крутыхъ яицъ въ желудкѣ
Образуется янтарь».

Врачъ скептическаго складу
Не любилъ духовныхъ лицъ
И, причетнику въ досаду,
Проглотилъ пятьсотъ яицъ.

Стонъ и вопли! Всѣ рыдаютъ,
Понамарь звонитъ съ плеча.
Это значитъ — погребаютъ
Вольнодумнаго врача.

Не прошли еще и сутки,
Молвитъ грустно понамарь:
«А ужъ въ докторскомъ желудкѣ,
Видно, сдѣлался янтарь!»

—и если онъ не вспомнитъ почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Кузьму Петровича Пруткова, то онъ напрасно истощитъ свой умъ въ догадкахъ и ничего не изъяснитъ себѣ въ такомъ стихотвореніи. Только широкое знакомство съ литературною дѣятельностью Пруткова поможетъ ему разгадать смыслъ такой видимой безсмыслицы.

Да и вообще, какъ можно говорить о сатирѣ А. Толстого, игнорируя стихи и изреченія столь близкаго его родственника и друга, какимъ былъ покойный директоръ Пробирной Палатки Кузьма Прутковъ?

VIII.

Прутковъ стяжалъ себѣ, какъ извѣстно, большую славу и популярность. Сочиненія его печатались охотно въ самомъ передовомъ журналѣ—въ «Современникѣ»—и имѣли такой громкій успѣхъ, что удостаивались нерѣдко контрафакціи. Ихъ знали наизусть; иногда въ серьезныхъ сочиненіяхъ на нихъ дѣлались ссылки; послѣ смерти автора они издавались неоднократно и издаются до сего дня. Одно изъ нихъ даже попало на подмостки Александринскаго театра и было сыграно въ высочайшемъ присутствіи, хотя государь императоръ Николай Павловичъ и остался имъ очень недоволенъ. Вообще, славѣ Кузьмы Пруткова могъ позавидовать любой изъ самыхъ видныхъ нашихъ писателей.

Историкъ, служитель неподкупной истины, обязанъ, впрочемъ, не поддаваться увлеченію и безпристрастно оцѣнить какъ личность этого знаменитаго дѣятеля, такъ и стоимость его трудовъ, за которыми, каковы бы ни были ихъ погрѣшности, всегда сохранится одно значеніе—полная оригинальность и самобытность. Друзья, близко знавшіе Кузьму Пруткова, и среди нихъ и графъ Толстой, утверждаютъ, что онъ перенялъ отъ людей, имѣвшихъ въ литературѣ успѣхъ, «смѣлость, самодовольство, самоувѣренность, даже наглость, и сталъ считать каждую свою мысль, каждое свое писаніе и изреченіе—истиной, достойною оглашенія». Онъ счелъ себя сановникомъ въ области мысли и сталъ самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невѣжество, которыя иначе остались бы неизвѣстными внѣ стѣнъ Пробирной Палатки. Одобренный своими клевретами, онъ уже самъ сталъ требовать, чтобы его слушали, а когда его стали слушать, онъ выказалъ такое самоувѣренное непониманіе дѣйствительности, какъ-будто надъ каждымъ его словомъ и произведеніемъ стоялъ ярлыкъ: «Все человѣческое мнѣ чуждо».

Пусть будетъ такъ. Но, не взирая на всѣ свои недочеты, какъ человѣка, Кузьма Прутковъ былъ все-таки настоящій писатель, и человѣческое уже по одному тому было ему не чуждо, что многіе люди въ весьма критическихъ моментахъ своей жизни руководились его изреченіями и его мудростью—и продолжаютъ руководствоваться ею и теперь.

Свѣдѣнія о жизни этого замѣчательнаго человѣка очень неполны и отрывочны. Его ближайшіе друзья, издавая въ свѣтъ его сочиненія, снабдили ихъ вводною статьей, которая до сего дня остается единственнымъ надежнымъ источникомъ для его жизнеописанія, если не считать краткой поминки, напечатанной въ годъ его смерти его племянникомъ Калистратомъ Ивановичемъ Шерстобитовымъ [15]).

Общій ходъ скромной жизни Пруткова представляется, по этимъ даннымъ, въ слѣдующемъ видѣ. Родился Кузьма Петровичъ въ 1803 г. недалеко отъ Сольвычегодска въ деревнѣ Тентелевой [16]).

---

[15]) «Современникъ», 1863, IV, «Свистокъ», 54—62.

[16]) Деревня малоизвѣстная, но пользовавшаяся, очевидно, дурною репутаціей, потому что современные Пруткову петербургскіе сановники говаривали часто: «Смотри ты у меня. Сошлю тебя въ Тентелеву деревню». («Новое Время», № 2026, 1881 г.)

Какъ протекало его дѣтство—неизвѣстно, и только въ 1820 г. [17]) мы застаемъ его въ гусарскомъ полку (и притомъ «лучшемъ» полку) юнкеромъ. Поступилъ онъ въ военную службу, какъ утверждаютъ его друзья, только для мундира, и это, пожалуй, вѣрно, если вспомнить, какой ничтожный случай заставилъ его выйти въ отставку. А именно: въ ночь съ 10-го на 11-ое апрѣля 1823 года, возвратясь поздно домой съ товарищеской попойки и едва прилегши на койку, онъ увидѣлъ передъ собою голаго бригаднаго генерала въ эполетахъ. Это видѣніе такъ на него подѣйствовало, что онъ рѣшился перемѣнить военную службу на статскую и тотчасъ же опредѣлился по министерству финансовъ, въ Пробирную Палатку, гдѣ онъ и оставался до самой своей смерти; умеръ онъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника со старшинствомъ 15 лѣтъ $4^1/_2$ мѣсяцевъ, кавалеромъ Станислава первой степени послѣ 20-тилѣтняго безукоризненнаго управленія Палаткой. Имѣлъ онъ также и нѣсколько пожалованныхъ перстней.

Человѣкъ онъ былъ семейный, и семейное счастіе его составила нѣкая Антонида Платоновна Проклеветантова—очевидно, дворянскаго рода,—которая подарила ему свыше десяти человѣкъ дѣтей. Наружность его была некрасива, но выразительна. «Долго сохранится въ памяти, — говорилъ К. И. Шерстобитовъ,—его высокое, склоненное назадъ чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осѣненное поэтически-всклокоченными шанкретовыми съ просѣдью волосами; его мутный, нѣсколько прищуренный и презрительный взглядъ; его желто-каштановый цвѣтъ лица и рукъ; его змѣиная, саркастическая улыбка, всегда выказывавшая цѣлый рядъ, правда, почернѣвшихъ и порѣдѣвшихъ отъ табаку и времени, но все-таки большихъ и крѣпкихъ зубовъ; наконецъ, его вѣчно откинутая назадъ голова и нѣжно любимая имъ альмавива»...

О нравѣ Кузьмы Пруткова и объ его темпераментѣ свѣдѣнія у насъ не столь полныя, какъ объ его наружности. Онъ былъ рѣзокъ, рѣшителенъ, самоувѣренъ. «Въ этомъ отношеніи,—какъ утверждаютъ его друзья,—онъ былъ сыномъ своего времени, отличавшагося самоувѣренностью и неува-

[17]) По свѣдѣніямъ Шерстобитова—въ 1816 г.

женіемъ препятствій. То было, какъ извѣстно, время знаменитаго ученія: «Усердіе все превозмогаетъ». Въ словахъ Пруткова часто слышится не совѣтъ, не наставленіе, а—команда. Съ этими качествами можно было бы помириться, но друзья его утверждаютъ (хотя едва ли основательно), что онъ былъ умственно ограниченъ и желалъ играть роль, на которую не имѣлъ права. Но эти же друзья признаютъ, что въ Кузьмѣ Петровичѣ сохранилось глубокое прирожденное добродушіе, дѣлающее его невиннымъ во всѣхъ выходкахъ, и что потому онъ былъ и забавенъ и симпатиченъ.

Образъ мыслей Кузьмы Петровича, при всей той свободѣ, съ какою онъ относился къ самымъ труднымъ вопросамъ бытія, былъ, какъ и надлежало ему быть, консервативный. Не могъ же онъ, питомецъ николаевскаго режима, стать на сторону той новизны, которую на склонѣ лѣтъ своихъ онъ вокругъ себя видѣлъ? Но хоть онъ и не симпатизировалъ ей въ душѣ, онъ все-таки, по живости своей натуры, не могъ на нее не отозваться. «Въ періодъ подготовленія реформъ царствованія Александра II,—разсказываютъ его друзья,—онъ какъ бы растерялся. Сначала ему казалось, что изъ-подъ него уходитъ почва, и онъ сталъ роптать, повсюду крича о рановременности всякихъ реформъ и о томъ, что онъ «врагъ всѣхъ такъ-называемыхъ вопросовъ». (Эти слова онъ, очевидно, заимствовалъ изъ своихъ бесѣдъ съ гр. А. Толстымъ.) «Однако, — продолжаютъ его коварные друзья свои разоблаченія,—потомъ, когда неизбѣжность реформъ сдѣлалась несомнѣнною, онъ самъ старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовалъ, когда проекты его браковали, по ихъ очевидной несостоятельности. Онъ объяснялъ это завистью, неуваженіемъ опыта и заслугъ и сталъ впадать въ уныніе, даже приходитъ въ отчаяніе. Состояніе его духа отразилось, между прочимъ, въ извѣстномъ его стихотвореніи: «Передъ моремъ житейскимъ», гдѣ онъ себя сравнивалъ съ кузнечикомъ, который скачетъ, а куда — не видитъ. Вскорѣ, однако, онъ успокоился, почувствовавъ вокругъ себя прежнюю атмосферу и подъ собою — прежнюю почву. Онъ снова сталъ писать проекты, но уже стѣснительнаго направленія, и они принимались съ одобреніемъ. Это дало ему основаніе возвратиться къ прежнему самодовольству и ожидать значительнаго повышенія по службѣ.

И умеръ онъ, по свидѣтельству его племянника, «съ олнымъ сознаніемъ полезной и славной своей жизни, поруивъ передать публикѣ, что умираетъ спокойно, будучи увѣенъ въ благодарности и справедливомъ судѣ потомства»... потомство оправдало его надежды. Впрочемъ, онъ и при изни пользовался большимъ успѣхомъ. Если не считать ополучнаго провала его комедіи «Фантазія» на Александриной сценѣ (1851 года, 8-го января), то въ литературѣ ему зло, да и фіаско на сценѣ должно быть отнесено къ числу юстыхъ случайностей, такъ какъ, не выйди императоръ иколай Павловичъ изъ своей ложи до окончанія пьесы и покажи онъ явно своего недовольства,—пьеса, вѣроятно, ѣла бы тотъ же успѣхъ, какой, вообще, выпадалъ на долю льшинства тогдашнихъ комедій.

Во всякомъ случаѣ, Кузьма Петровичъ долженъ былъ ть благодаренъ тѣмъ случайнымъ друзьямъ, съ которыми о свела судьба и которые настояли на томъ, чтобы онъ алъ литераторомъ. Они, эти друзья,—истинные виновники творцы его славы,—они угадали сказывавшійся въ немъ таантъ писателя и, хоть они и называли его «зазнавшимся учемъ», но, очевидно, цѣнили въ немъ писателя, такъ къ хлопотали за него немало въ средѣ литераторовъ и слѣ его смерти ревниво оберегали его память и его твонія отъ всякой поддѣлки. Знакомство Пруткова съ его рузьями состоялось въ 1850 году. Друзья эти были—графъ лексѣй Константиновичъ Толстой и его два двоюродныхъ ата, Алексѣй Михайловичъ и Владиміръ Михайловичъ емчужниковы. Имена эти говорятъ сами за себя, и понятно, почему Кузьма Петровичъ, при всемъ своемъ самонѣніи, такъ покорно подчинялся ихъ вліянію. Всѣ они ли люди поразительно остроумные, а двое изъ нихъ— . Жемчужниковъ и гр. Толстой—истинные поэты. Кузьма етровичъ не могъ этого не чувствовать и ввѣрялся ихъ руоводству безропотно. При всей своей строгости къ нему и рузья его, съ своей стороны, должны были признать, что ъ не простой ученикъ, а писатель оригинальный. «Прутовъ,—сказалъ про него А. Жемчужниковъ,—удостоился занять въ литературѣ особое, собственно ему принадлежащее ѣсто» [18]).

---

[18]) «Новости», 1883, № 20.

IX.

Эти слова справедливы не только въ отношеніи къ тому времени, когда Прутковъ выступалъ со своими произведеніями, но и въ отношеніи къ русской словесности вообще: и до сего дня его остроуміе остается единственнымъ по своей чеканкѣ. А въ 50-хъ годахъ оно имѣло, кромѣ того, еще особое общественное значеніе.

Противъ всякой попытки навязать твореніямъ Кузьмы Пруткова какое-либо общественное въ строгомъ смыслѣ значеніе—его друзья всегда возражали, и самъ авторъ съ ними соглашался. Даже свою комедію «Фантазія» онъ не желалъ признать сатирой на современные нравы и жестоко высмѣялъ рецензента, который заговорилъ объ ея сатирическомъ смыслѣ.

Но и друзья автора и онъ самъ не совсѣмъ правы въ своемъ протестѣ. Положимъ, редакція «Современника», печатая произведенія Пруткова, всегда указывала читателю на безобидность его образъ мыслей. Выпуская въ свѣтъ его «Пухъ и Перья», она говорила: «Мы всѣ думаемъ, что общественные вопросы не перестаютъ волновать насъ, что волны возвышенныхъ идей растутъ и ширятся и совершенно затопляютъ луга поэзіи и, вообще, искусства. Но другъ нашъ Кузьма Прутковъ убѣжденъ совершенно въ противномъ. Онъ полагаетъ, что его остроумныя басни и звучныя стихотворенія могутъ и теперь увлечь массу публики» [19]).

Еще яснѣе высказывала свою мысль редакція, печатая извѣстную драму Пруткова «Черепословъ». «Поклонники искусства для искусства!—восклицала она.—Рекомендуемъ вамъ драму г. Пруткова. Вы увидите, что чистая художественность еще не умерла» [20]).

Однако, у насъ есть свѣдѣнія, что эта чистая художественность причиняла редакціи иногда нѣкоторое безпокойство. Такъ, И. И. Панаевъ вовсе не напечаталъ нѣкоторыхъ твореній Пруткова, переданныхъ ему для печати, и говорилъ, что въ этомъ ему препятствовали цензурныя усло-

---

[19]) «Современникъ», 1860. Мартъ въ «Свисткѣ». «Замѣтка отъ редакціи».

[20]) «Современникъ», 1860 г. Май. «Еще произведеніе Пруткова съ обращеніемъ редакціи».

зія; но Кузьма Петровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ, не вѣрилъ этому [21]).

Наконецъ, нужно помнить, что въ 1863 году Кузьма Петровичъ вступилъ рѣшительно на путь публицистики. Правда, послѣ перваго же опыта онъ отъ этой роли публициста отказался. И напрасно. Онъ въ этомъ первомъ публицистическомъ сочиненіи обнаружилъ сразу умъ большого государственнаго человѣка.

Такъ какъ этотъ опытъ—проектъ «о введеніи единомыслія въ Россіи» [22])—не вошелъ въ полное собраніе сочиненій Кузьмы Петровича, то мы приведемъ изъ него довольно пространную выписку. Она не нарушитъ порядка въ обзорѣ литературной дѣятельности Пруткова, потому что государственный этотъ проектъ стоитъ совсѣмъ одиноко въ ряду другихъ произведеній нашего автора.

Отставной поручикъ Воскобойниковъ, который огласилъ это твореніе Пруткова въ печати, говоритъ, что проектъ этотъ былъ написанъ въ 1859 году и на немъ имѣется помѣтка: «Подать въ одинъ изъ торжественныхъ дней на усмотрѣніе». Но былъ ли онъ поданъ и принятъ, Воскобойникову не было извѣстно по весьма малому его чину.

Самый проектъ, за немногими сокращеніями, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

«Приступъ: Собственное мнѣніе. Да развѣ можетъ быть собственное мнѣніе у людей, не удостоенныхъ довѣріемъ начальства? Откуда оно возьмется и на чемъ основано? Если бы писатели знали что-нибудь, ихъ призвали бы къ службѣ; но кто не служитъ, тотъ, значитъ, недостоинъ,—стало-быть, и слушать его нечего. Съ этой стороны еще никто не колебалъ авторитетъ нынѣшнихъ писателей,—я «первый» (напереть на то, что я первый; можетъ-быть, это откроетъ мнѣ карьеру).

«Трактатъ: Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибиться. Для осуществленія этого желанія необходимо держаться мнѣнія начальства; ибо—въ противномъ случаѣ—гдѣ ручательство, что составленное мнѣніе безошибочно? Но какъ узнать мнѣніе начальства? Намъ скажутъ:

---

[21]) «Новое Время», 1881 г., № 2026. Дѣло идетъ о баснѣ «Звѣзда и Брюхо».

[22]) «Современникъ», 1863 г., IV, 63—66.

«Оно выражается въ принимаемыхъ имъ мѣрахъ». Это правда... гм!.. нѣтъ, это неправда!.. Правительство нерѣдко таитъ свои цѣли — изъ высшихъ государственныхъ соображеній, недоступныхъ пониманію большинства. Оно нерѣдко доходитъ до результата рядомъ косвенныхъ мѣръ, повидимому, противорѣчащихъ одна другой и даже не имѣющихъ между собою никакой связи, но, въ дѣйствительности, соединенныхъ секретными шалнерами одной государственной идеи, одного государственнаго плана, поражающаго умъ своею громадностью и послѣдствіями...

«Планъ этотъ открывается въ неотвратимыхъ результатахъ исторіи. Такъ, можетъ ли какой-либо подданный обсуждать правительственныя мѣропріятія, не владѣя ключомъ взаимной между ними связи? «Не по отдѣльнымъ частямъ, но по цѣлой совокупности водочерпательной машины суди о достоинствахъ сихъ частей» — такъ сказалъ я еще въ 1842 году сыну своему Ѳаддею и до сего времени непреклонно убѣжденъ въ высокой справедливости этого изреченія... Гдѣ подданному уразумѣть всѣ эти причины, поводы, соображенія, разные виды, съ одной стороны, и усмотрѣніе— съ другой, на основаніи коихъ принимаются правительственныя мѣры? Не понять и не уразумѣть ему ихъ, если они не будутъ указаны самимъ благодѣтельнымъ правительствомъ. Этому мы видимъ доказательства ежедневно, ежечасно, скажу—ежеминутно!! Вотъ причина, съ одной стороны, почему иные, даже самые благонамѣренные люди нерѣдко сбиваются съ толку злонамѣренными толкованіями, и почему, съ другой стороны, многіе изъ вѣрноподданныхъ недостаточно противодѣйствуютъ распространяющимся лжемудрствованіямъ, не имѣя отъ правительства указанія, какого мнѣнія слѣдуетъ держаться? Положеніе ихъ самое тягостное и даже — смѣло скажу — вполнѣ невыносимое.

«Заключеніе: На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній и принимая во вниманіе, съ одной стороны, явную необходимость установленія однообразной точки зрѣнія въ пространномъ нашемъ отечествѣ, съ другой же стороны, усматривая невозможность достиженія этой благой цѣли безъ учрежденія офиціальнаго печатнаго органа, — нельзя, вмѣстѣ съ тѣмъ, не признать справедливымъ, что въ этомъ именно заключается настоятельная потребность общества и существенное условіе его преуспѣянія и развитія...

Будучи поддержанъ достаточнымъ содѣйствіемъ полицейской и административной властей, такой правительственный органъ служилъ бы надежною звѣздой, скажу—маякомъ или вѣхою для общественнаго мнѣнія. Такимъ образомъ, пагубная наклонность человѣческаго разума вѣчно обсуждать происходящее на всемъ земномъ кругѣ была бы направлена къ исключительному служенію правительственнымъ видамъ и цѣлямъ. По всѣмъ случаямъ, мѣрамъ и вопросамъ существовало бы одно господствующее мнѣніе, и если даже допустить, что нашлись бы злонамѣренные люди, которые были бы несогласны съ этимъ мнѣніемъ, то они, естественно, остереглись бы противорѣчить, дабы не выказать своей злонамѣренности. Съ другой стороны, истинно-вѣрноподданные узнали бы, наконецъ, какого мнѣнія имъ слѣдуетъ держаться для блага своего и своихъ присныхъ.

«Зная сердце человѣческое и господствующія черты русской народности, нѣтъ повода сомнѣваться въ достиженіи вышеизложенной цѣли. Дѣло только въ томъ, чтобы избранъ былъ редакторомъ достойный во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ, извѣстный своимъ усердіемъ и преданностью, пользующійся славою писателя и глубокаго мыслителя и готовый пренебречь, для пользы правительства, конечно, за достаточное вознагражденіе, общественнымъ уваженіемъ и мнѣніемъ. Въ поощреніе его и въ примѣръ другимъ необходимо, кромѣ достаточнаго вознагражденія, отличать его чинами, орденскими украшеніями и особыми денежными наградами. Скромность, свойственная моему характеру, препятствуетъ мнѣ предложить личный свой трудъ въ этомъ дѣлѣ и разностороннія свои познанія и способности, которыми, однако, я готовъ жертвовать до послѣдняго издыханія — если это будетъ согласно съ предначертаніями начальства— для безкорыстной службы престолу отечества».

На поляхъ этого трактата остались, кромѣ того, весьма характерныя замѣтки Кузьмы Петровича, изъ которыхъ видно, между прочимъ, что онъ, исчисляя доходъ редакціи съ проектированнаго имъ офиціальнаго изданія и предполагая пустить оное по дешевой цѣнѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ необходимымъ: 1) съ одной стороны, сдѣлать подписку на сіе изданіе обязательною для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ; 2) съ другой стороны—велѣть всѣмъ издателямъ и редакторамъ частныхъ печатныхъ органовъ перепечаты-

вать руководящія статьи изъ офиціальнаго óргана, дозволяя себѣ только повтореніе и развитіе ихъ; 3) сверхъ того, наложить на нихъ денежные штрафы въ пользу редакціи офиціальнаго óргана за всѣ тѣ мнѣнія, кои окажутся противорѣчащими мнѣніямъ, признаваемымъ господствующими, и 4) вмѣстѣ съ тѣмъ, вмѣнить всѣмъ начальникамъ отдѣльныхъ частей управленія въ обязанность неусыпно вести и постоянно сообщать въ одно центральное мѣсто списки всѣхъ служащихъ подъ ихъ вѣдомствомъ лицъ, съ обозначеніемъ, кто изъ нихъ какіе получаетъ журналы и газеты, и не получающихъ офиціальнаго óргана, какъ не сочувствующихъ благодѣтельнымъ видамъ правительства, отнюдь не повышать ни въ должности ни въ чины и не удостоивать ни наградъ ни командировокъ...

«Такимъ образомъ, — замѣчалъ Прутковъ, — правительство избѣгнетъ опасности ошибочно помѣщать свое довѣріе».

Всякій, даже самый строгій судья долженъ признать, что въ этомъ проектѣ Кузьма Петровичъ обнаружилъ большое глубокомысліе, государственный умъ и, главное, прозрѣніе, не говоря уже о сатирической силѣ, которая своимъ размѣромъ и размахомъ напоминаетъ только что распускавшуюся въ тѣ годы сатиру Щедрина. Рьяные поклонники Пруткова могли бы даже заподозрѣть, что Щедринъ читалъ творенія Кузьмы Петровича и иногда поддѣлывался подъ его рѣчь. Взять хотя бы такой историческій анекдотъ, опубликованный Щедринымъ въ «Мысляхъ о градоначальническомъ единомысліи, а также о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ» («Исторія одного города»):

«Одинъ озабоченный градоначальникъ, вошедъ въ кофейную, спросилъ себѣ рюмку водки и, получивъ желаемое вмѣстѣ съ мѣдною монетой въ сдачу, монету проглотилъ, а водку вылилъ себѣ въ карманъ. Вполнѣ сему вѣрю, ибо при градоначальнической озабоченности подобныя пагубныя смѣшенія весьма возможны. Но при этомъ не могу не сказать: вотъ какъ градоначальники должны быть осторожны въ разсмотрѣніи своихъ собственныхъ дѣйствій». Развѣ этотъ документъ не напоминаетъ извѣстныхъ «гисторическихъ матеріаловъ» Ѳедота Кузьмича Пруткова, которые его внукъ— Кузьма Петровичъ—обработалъ для печати?

Во всякомъ случаѣ, причислять Пруткова къ незлобивымъ служителямъ чистаго искусства—нельзя, не нарушая

праведливости; и мы сейчасъ постараемся доказать, что всѣ о произведенія—невинныя шутки порознь—въ общей ихъ ассѣ были отнюдь не невинны, а таили въ себѣ ядъ, правда, есьма искусно замаскированный.

X.

Сочиненія Кузьмы Пруткова пользуются и до сей поры кою извѣстностью, что рѣшительно нѣтъ надобности наминать объ ихъ содержаніи; и историку остается лишь азать на главнѣйшія отличительныя свойства таланта авра, такъ какъ этотъ талантъ, при всей его популярности, е-таки пока оцѣненъ недостаточно.

Первое, что́ въ этомъ талантѣ поражаетъ, это—его всеъемлемость. Въ этомъ отношеніи Прутковъ имѣетъ только ного соперника—Пушкина. Широта таланта Кузьмы Петвича сказывается и на внѣшней формѣ его произведеній на внутреннемъ ихъ смыслѣ. Во всѣхъ родахъ и видахъ орчества онъ былъ одинаково хозяинъ.

Въ басняхъ — онъ достойный соперникъ всѣхъ баснесцевъ, начиная съ Эзопа; онъ даже выше ихъ, потому о у всѣхъ его предшественниковъ мораль обыкновенно выкаетъ изъ общаго смысла, а у Пруткова эти двѣ части ного логическаго цѣлаго живутъ самостоятельно, и сводная воля баснописца торжествуетъ надъ обиднымъ для ловѣка и стѣснительнымъ сцѣпленіемъ положеній и выдовъ.

Кузьма Прутковъ не менѣе великъ и искусенъ во всѣхъ дахъ лирики. Какъ Пушкинъ или Гёте могли написать ихотвореніе въ любомъ стилѣ и въ духѣ любого поэта, къ писалъ ихъ и Кузьма Петровичъ. Только зоилы могли звать эти стихотворенія пародіями, такъ какъ зоилы бынютъ чѣмъ злѣе, тѣмъ необдуманнѣе. «Я никогда не пилъ пародій,—восклицалъ Прутковъ съ гордостью.—Откуда взялъ, будто я пишу пародіи? Я просто анализировалъ умѣ своемъ большинство поэтовъ, имѣвшихъ успѣхъ; отъ анализъ привелъ меня къ синтезису, ибо дарованія, зсыпанныя между другими поэтами порознь, оказались змѣщенными во мнѣ единомъ». И въ этихъ словахъ нѣтъ мохвальства.

Иногда въ двухъ-трехъ строфахъ Прутковъ умѣлъ схватить духъ писателя и его манеру. И не только творческая тайна современниковъ была ему вѣдома,—онъ улавливалъ и звуки поэзіи, давно минувшей. Настоящіе испанскіе аллюры обнаружилъ онъ, напримѣръ, въ знаменитой балладѣ «Осада Памбы» и въ стихотвореніи: «Тихо надъ Альгамброй дремлетъ вся натура»; большое и тонкое пониманіе древности показалъ онъ въ извѣстныхъ стихахъ: «Философъ въ банѣ» и «Древней греческой старухѣ, если бы она домогалась моей любви». Нѣкоторое родство съ античной древностью обнаруживаетъ и стихотвореніе: «Изъ терпѣнья, Катерина, ты выводишь, наконецъ»,—навѣянное, очевидно, Цицерономъ: «Quousque tandem, Catilina».

Еще бо́льшимъ уваженіемъ къ таланту автора проникается читатель, когда отъ его лирики переходитъ къ его драматическимъ опытамъ. Прутковъ любилъ эту литературную форму и часто пользовался ею. Его можно съ полнымъ правомъ назвать новаторомъ въ этой области, такъ какъ имъ предвосхищенъ совсѣмъ особый родъ драматическихъ представленій, который лишь въ наше время достигъ настоящаго расцвѣта. Конечно, Кузьма Петровичъ не смогъ сразу проявить всей своей оригинальности, и есть у него драматическія произведенія, въ которыхъ замѣтна еще чужая манера. Такъ, иногда въ нихъ видны слѣды вліянія античной трагедіи и современнаго водевиля, мистерій Байрона и драматическихъ фантазій Тимоѳеева. Но главная его заслуга въ томъ, что онъ первый насадилъ у насъ истинную «символическую» драму. Онъ самъ сознавалъ, что онъ созидаетъ нѣчто новое, и въ предисловіи къ своей мистеріи: «Опрометчивый турка, или пріятно ли быть внукомъ», отъ лица извѣстнаго писателя, подъ которымъ, естественно, разумѣлъ себя самого, говорилъ: «Драматическими представленіями условились называть представленія, которыя бываютъ на театрахъ; представленія подраздѣляются на многія отрасли, какъ-то: на комедіи, трагедіи, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хороводы. Мой товарищъ и я посвятили всю жизнь нашу и всѣ наши зрѣлыя лѣта на изобрѣтеніе новаго рода драматическаго представленія. Мы съ товарищемъ рѣшились назвать его, послѣ долгихъ соображеній,—скажу: страданій!—«естественно-разговорнымъ» представленіемъ... Пора намъ, русскимъ, ознаменовать переваливши́йся

за другую половину девятнадцатый вѣкъ—«новымъ словомъ» въ нашей литературѣ... Нужно ли повторять, что мы посвятили ему всю нашу жизнь и наши зрѣлыя лѣта? Кромѣ того, я отказался для него отъ выгодной партіи съ дочерью купца Громова, уступивъ ее другому моему товарищу». Въ этомъ предисловіи не все ясно: такъ, напримѣръ, роль, какую сыграла купчиха Громова въ исторіи развитія русской драмы, не опредѣлена съ точностью, да и слово «естественно-историческое представленіе» — очень туманно. Ясно только одно, что Кузьма Петровичъ вполнѣ сознавалъ, что въ своихъ драматическихъ опытахъ онъ созидаетъ нѣчто «новое». Онъ только не умѣлъ выразить словами, въ чемъ это новое заключается. Для насъ — современниковъ драмъ «мистическихъ» и «символическихъ», поэзіи, какъ принято говорить, «декадентской»—намъ тайна новаго слова въ драмахъ Пруткова извѣстна. Только улавливая ихъ «мистико-символическій» смыслъ, въ нихъ можно прозрѣть кое-что сквозь капризный поэтическій туманъ, заволакивающій ихъ основную идею. Иначе все въ нихъ—и дѣйствіе, и положенія, и лица—представится какъ чистѣйшая фантасмагорія, какъ торжество самой откровенной чепухи и безсмыслицы, которую Прутковъ—какъ мудрецъ и мыслитель—долженъ былъ ненавидѣть.

И дѣйствительно, каждая изъ пьесъ Пруткова ist nur ein Gleichniss — символъ, который поясняетъ либо общую трагедію жизни человѣческой, либо какое-нибудь важное въ ней явленіе, надъ которымъ задумался авторъ.

Мистерія «Сродство міровыхъ силъ», гдѣ дѣйствующими лицами являются ровная долина, великій поэтъ, высокій дубъ, звѣзда небесная, звѣзда орденская, дупло, сова, веревка, полевая мышь, ночные часы, загробный міръ мелькомъ, альмавива..., т.-е., гдѣ царитъ полный хаосъ и смѣшаны всѣ элементы бытія, есть философская поэма съ пантеистическимъ смысломъ и съ этою вѣрой въ конечное установленіе порядка на мѣстѣ разрушенія. Эта, а не иная мысль выражена символически и въ образѣ поэта, который въ 60-хъ годахъ, въ вѣкъ потопа и труса, огня и глада и прочихъ реформъ, направленныхъ на униженіе поэзіи и на дискредитированіе всѣхъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ,—рѣшилъ съ собою покончить, готовъ былъ повѣситься, стоя ногами на полномъ собраніи своихъ сочиненій, и былъ спасенъ ураганомъ, вырвавшимъ тотъ дубъ, на которомъ повисъ

малодушный пессимистъ, не предусмотрѣвшій спасительнаго дѣйствія вихря, идущаго сверху.

«Опрометчивый турка» не оконченъ, и смыслъ его неясенъ, но очевидно, что драма должна была коснуться серьезнѣйшаго вопроса—о значеніи «неожиданностей» въ жизни, судя по тому, что главный ея интересъ сосредоточенъ, во-первыхъ, на нѣкоемъ Иванѣ Семеновичѣ — человѣкѣ очень самонадѣянномъ, который погубилъ свою карьеру и чуть-чуть что не жизнь, задумавъ похвастаться передъ начальствомъ своимъ умѣніемъ играть на скрипкѣ безъ канифоли, и, во-вторыхъ, на извѣстной г-жѣ Разорваки, у которой вдругъ совсѣмъ неожиданно объявился внукъ турецкаго происхожденія.

Граціознѣйшая оперетта «Черепословъ или френологъ» написана, собственно, не Кузьмой Петровичемъ, а его отцомъ (а имъ только издана), и это подтверждается общимъ ея легкомысліемъ. Глубины въ ней нѣтъ никакой, и таинственный смыслъ вторженія гидропата Амаліи фонъ-Курцгалопа въ домъ френолога Шишкенгольма, равно какъ и неприличное поведеніе дочери френолога Лизы, которая, не дождавшись паденія театральнаго занавѣса, раздѣвается и лѣзетъ въ купальный шкапъ,—едва ли когда-нибудь будетъ разгаданъ.

Трудно уловима и основная идея знаменитой комедіи «Фантазія», потерпѣвшей крушеніе на Александринской сценѣ. Кузьма Петровичъ придавалъ этой комедіи большое значеніе. Онъ былъ очень подавленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что представленіе ея на сценахъ было воспрещено по Высочайшему повелѣнію (9-го января 1851 г.). «Публикѣ,—говорилъ онъ,—дозволено было видѣть комедію только одинъ разъ». А развѣ достаточно одного раза для оцѣнки произведенія, выходящаго изъ рядовыхъ? Сразу понимаются только явленія обыкновенныя, посредственность, пошлость. Едва ли кто оцѣнилъ бы Гомера, Шекспира, Бетховена, Пушкина, если бы произведенія ихъ было воспрещено прослушать болѣе одного раза». Прутковъ негодовалъ на публику и говорилъ, что она обязана была раскусить,—«между тѣмъ, она вела себя легкомысленно, какъ толпа, хотя состояла наполовину изъ людей высшаго общества. Едва Государь съ явнымъ неудовольствіемъ изволилъ удалиться изъ ложи ранѣе конца пьесы, какъ публика стала шумѣть, кричать,

шикать, свистать... Этого прежде не дозволялось! За это прежде наказывали!..» Авторъ былъ обиженъ и тѣми ругательными рецензіями, которыя появились въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Пьесу, конечно, не поняли потому, что взглянули на нее простыми глазами. Естественность и обыденность сценировки, а именно дачная обстановка Аграфены Панкратьевны Чупурлиной, совсѣмъ реальныя физіономіи главныхъ дѣйствующихъ лицъ — Адама Либенталя, Ѳемистокла Разорваки, Касьяна Батогъ-Батыева, Мартына Кутило-Завалдайскаго, Георгія Безпардоннаго и Ѳирса Миловидова, наконецъ, необычайная простота завязки—шесть жениховъ и одна невѣста, которая должна достаться тому изъ нихъ, кто найдетъ сбѣжавшую собачонку ея маменьки, — все заставляло публику предъявлять къ этой пьесѣ требованія строгаго реализма; и, конечно, глядя на всю ту неописуемую чепуху, которая происходила на сценѣ, публика могла считать себя обманутою. Но авторъ вовсе и не помышлялъ стоять на почвѣ трезваго реализма. Онъ имѣлъ въ умѣ нѣчто болѣе сложное и значительное, чѣмъ простую любовную канитель. На это указываетъ, напримѣръ, тотъ фактъ, что онъ пожелалъ, чтобы посреди сада, гдѣ происходитъ дѣйствіе, стояла бесѣдка очень узенькая, въ видѣ будки, и на ней флагъ съ надписью: «Что́ наша жизнь?» Скрытая мысль автора проглядываетъ еще яснѣе въ странномъ желаніи заполнить сцену не только людьми, но и животными,—правда, очень благородными. Въ спискѣ дѣйствующихъ лицъ фигурируютъ, какъ извѣстно, моська съ кличкой «Фантазія», моська, похожая на Фантазію, пудель, датскій догъ, собачка малаго размѣра и незнакомый бульдогъ. Такое обиліе собакъ не можетъ быть простою случайностью,—на что указываютъ, кромѣ того, и ихъ клички, несовсѣмъ обычныя, какъ-то: «Фантазія», «Утѣшительный» и «Космополитъ». Заслуживаетъ замѣчанія также, что всѣ эти собаки зачислены въ разрядъ дѣйствующихъ лицъ «безъ рѣчей», а кучера, повара, ключницы и казачки, тоже дѣйствующіе въ пьесѣ «безъ рѣчей»,— поименованы особо. На всемъ этомъ лежитъ печать какой-то символичности, которая въ свое время не ускользнула отъ вниманія театральнаго цензора. Желая, насколько это было въ его силахъ, помочь зрителю истолковать пьесу въ ея истинномъ символическомъ смыслѣ, онъ вычеркнулъ въ ней

всѣ слова, которыя надлежитъ понимать всегда въ смыслѣ прямомъ, а не въ переносномъ, какъ-то слова: «князь», «нѣмецъ», «брандмейстеръ», «серьезный чиновникъ», «подчиненный», «безстыдникъ», «жандармъ» и друг. И все-таки ключъ отъ этой «Фантазіи» унесенъ Кузьмою Петровичемъ съ собою въ могилу!

Озадачилъ онъ читателя и еще въ одной пьесѣ, которая, къ сожалѣнію, не попала въ полное собраніе его сочиненій. Пьеса это—«Любовь и Силинъ», драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ—была напечатана въ сатирическомъ журналѣ «Развлеченіе» въ 1861 году [23]). Въ ней авторъ достигъ высшей степени иносказанія и, къ тому же, умышленно пожелалъ отвести глаза читателю отъ истиннаго своего намѣренія. Онъ самъ увѣрялъ читателя, что «сюжетъ имъ заимствованъ изъ обыденной жизни», но уже одинъ перечень дѣйствующихъ лицъ можетъ показать, сколь все въ этомъ твореніи необыденно и необычайно. Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ, близъ катакомбъ (?). Драматическая завязка заключается въ томъ, что директоръ губернской мужской гимназіи усмотрѣлъ въ младшемъ классѣ никѣмъ дотолѣ невиданнаго воспитанника Ванюшу, и на спросъ о немъ всѣ единогласно отозвались, что онъ—не кто иной, какъ всѣмъ извѣстный финикъ. Это бы еще ничего, но этотъ самый финикъ оказывается древлянскаго происхожденія и притомъ сыномъ нѣкоей вдовы Кислозвѣздовой—«нѣмой и страстной», которая даръ слова можетъ получить только въ объятіяхъ любви... И съ этимъ можно было бы помириться; можно даже разобраться въ странныхъ извивахъ мысли и замыслахъ русскаго дворянина Силина, который одержимъ страстью говорить по-французски и потому проводитъ время въ зазубриваніи вокабулъ: «ломъ — человѣкъ», «ламъ — душа», «патисери — пирожное», «просто серизъ — вишня», но чего никто никогда не пойметъ, такъ это—вторженіе и въ безъ того запутанное дѣйствіе двухъ уроженцевъ благородной Гишпаніи. Сильва донъ-Алоизо де-Мерзавецъ и его спутница, дона-Ослабелла, окончательно путаютъ всѣ расчеты и соображенія самаго проницательнаго комментатора.

Таковы заслуги Кузьмы Петровича передъ русскою риѳмо-

---

[23]) «Развлеченіе», 1861, № 18.

занною рѣчью—въ ея эпической и лирической формѣ — и таковы его попытки сказать новое слово со сцены.

XI.

Кузьма Петровичъ стяжалъ себѣ, помимо славы писателя, еще и большую извѣстность, какъ мыслитель. Мы обязаны ему, напримѣръ, изданіемъ цѣлой серіи историческихъ матеріаловъ, собранныхъ его дѣдомъ. Помимо силы чувствъ и свѣжести впечатлѣній, какія въ нихъ отмѣчаетъ ихъ издатель, они для историка екатерининскаго царствованія весьма большое подспорье. Не то, чтобы въ нихъ были отмѣчены какія-нибудь изъ ряда вонъ выходящія знаменательныя событія той эпохи,—нѣтъ. Дѣдъ Кузьмы Петровича собиралъ исключительно анекдоты. Но по этимъ анекдотамъ очень удобно судить о вкусахъ литературныхъ и иныхъ того времени; а извѣстно, что иногда любимый и ходячій анекдотъ эти вкусы лучше опредѣляетъ, чѣмъ сухое и добросовѣстное изслѣдованіе. Такъ, напримѣръ, придворная французская рѣчь, тогда столь распространенная, передана намъ удивительно образно въ репликахъ генералъ-аншефа X., который передъ каждымъ изъ дома своего выѣздомъ по нѣскольку французскихъ реченій затверживалъ, въ родѣ, напримѣръ: «не плезантѣ жамѣ авекъ лѣ фамъ донъ лимасинасіонъ траваль». Такъ же точно и ходкая тогда сентиментальная рѣчь ни въ одномъ романѣ не достигала такой законченности, какъ въ словахъ, съ которыми нѣкій швабъ обратился къ своей возлюбленной, когда она съ аппетитомъ ѣла жареную бекасину: «О! Амалія!—сказалъ онъ,—если бъ я былъ бекасиною, то, уповаю, всю тарелку вашу своими внутренностями черезъ край переполнилъ бы». Есть люди мало свѣдущіе, которымъ такіе анекдоты покажутся смѣшными, но серьезный историкъ ихъ оцѣнитъ.

Съ подобающей серьезностью должно отнестись и къ «мыслямъ и афоризмамъ» самого Пруткова; совѣтъ этотъ впрочемъ, излишенъ, такъ какъ эти «плоды раздумья» нашего писателя давно оцѣнены по достоинству, и къ нимъ привыкли относиться съ тѣмъ же уваженіемъ, съ какимъ цитируютъ мысли Власа Паскаля, Ларошфуко, Ривароля, Лихтенбергера и другихъ всемірно извѣстныхъ «максимистовъ».

Кузьма Петровичъ вполнѣ оправдываетъ такое почетное родство. Его афоризмы блестятъ двумя неоцѣненными ка-

чествами—глубиною мысли и необычайной ясностью выраженія. Нанижемъ нѣсколько такихъ жемчужинъ мысли на одну нитку—и какое спокойное и ясное міросозерцаніе передъ нами предстанетъ! «Полезнѣе пройти путь жизни, чѣмъ всю вселенную»; «Смерть для того поставлена въ концѣ жизни, чтобы удобнѣе къ ней приготовиться»; «Гдѣ начало того конца, которымъ оканчивается начало?»; «Никто не обниметъ необъятнаго»; «Всякая вещь есть форма проявленія безпредѣльнаго разнообразія»; «Если бы все прошедшее было настоящимъ, а настоящее продолжало существовать на ряду съ будущимъ, кто былъ бы въ силахъ разобрать: гдѣ причины и гдѣ послѣдствія?»...

И, между тѣмъ, какая иногда попадается проницательность въ рѣшеніи труднѣйшихъ психологическихъ задачъ! «Женатый повѣса воробью подобенъ»; «Не все стриги, что растетъ»; «И устрица имѣетъ враговъ»; «Многіе люди подобны колбасамъ: чѣмъ ихъ начинятъ, то и носятъ въ себѣ»; «Чувствительный человѣкъ подобенъ сосулькѣ: пригрѣй его—онъ растаетъ»; «Спеціалистъ подобенъ флюсу: полнота его одностороння»; «Любой фатъ подобенъ трясогузкѣ»; «Дѣвицы вообще подобны шашкамъ: не всякой удается, но всякой желается попасть въ дамки».

Наконецъ, нельзя же отказать въ большомъ общественномъ чутьѣ человѣку консервативнаго образа мыслей, который писалъ: «Не будь портныхъ,—скажи, какъ различилъ бы ты служебныя вѣдомства?»; «Камергеръ рѣдко наслаждается природою»; «На чужія ноги лосины не натягивай»; «Спокойствіе многихъ было бы надежнѣе, если бы дозволено было относить всѣ непріятности на казенный счетъ»; «Чрезмѣрный богачъ, не помогающій бѣднымъ, подобенъ здоровенной кормилицѣ, сосущей съ аппетитомъ собственную грудь у колыбели голодающаго дитяти»...

Друзья Кузьмы Петровича, А. и В. Жемчужниковы и А. Толстой, обнаружили недостойную ихъ благороднаго сердца зависть, когда говорили, что ихъ пріятель былъ неучъ, зазнавшійся писатель, который любитъ командовать, не имѣя на то права.

Мы убѣдились, что Кузьма Петровичъ имѣлъ всѣ права занять самое почетное мѣсто въ исторіи нашей словесности... а, между тѣмъ, съ нимъ случилась великая непріятность. Не только качества его ума и сердца, не только его слава,

ıкъ писателя... но... по самое его существованіе въ мірѣ ало вдругъ почему-то подвергаться сомнѣнію...

XII.

Упорные слухи не только о мнимомъ талантѣ Пруткова, и о мнимомъ его бытіи понудили одного изъ близкихъ о друзей выступить въ его защиту и рѣшиться на крайе средство — печатно заявить, что всѣ сомнѣнія въ его альномъ существованіи бросаютъ тѣнь не только на саго почтеннаго писателя, но и на его ближайшее начальво. «Подумали ли они (т.-е люди, одержимые скептицизмъ),—писалъ пріятель Пруткова,—подумали ли они, въ кое положеніе они ставятъ все управленіе министерства інансовъ, увѣряя, будто Кузьма Прутковъ не существолъ? Да кто же тогда былъ столь долго предсѣдателемъ ообирной Палатки, производился въ чины даже за отличіе получалъ жалованье?» [24])

Но и это основательное замѣчаніе не убѣдило скептиковъ, нынѣ можно утверждать уже съ полною достовѣрностью, о Кузьма Петровичъ—истинно миѳъ, и всѣ его произведея—сплошная мистификація! Кузьму Пруткова выдумали, рестили, всѣ сочиненія за него написали и даже портретъ о намалевали три большихъ шутника и остроумца—два ата Жемчужниковыхъ и гр. А. К. Толстой,—въ 50-хъ дахъ люди молодые и, выражаясь терминологіей тогдашняго нералъ-губернатора Закревскаго,—«на все способные».

Историку тяжело, конечно, вычеркивать Кузьму Петроча изъ списка почтенныхъ дѣятелей на поприщѣ литерары, но онъ можетъ утѣшиться тѣмъ, что оставшееся послѣ ѕьмы Пруткова литературное наслѣдство все-таки суествуетъ и со страницъ русской словесности не исчезнетъ; же больше—потребуетъ отнынѣ къ себѣ истинно серьезго отношенія, въ виду популярности литературныхъ именъ хъ лицъ, которыя въ веселую минуту позволили себѣ съ гковѣрнымъ читателемъ такую милую шутку.

Сознавая всю серьезность задачи, мы и постараемся теперь опредѣлить то мѣсто, которое въ исторіи русской сатиры лжно быть отведено твореніямъ Пруткова. Но прежде— сколько словъ о самой миѳической личности автора.

---

[24]) «Новое Время», 1881, № 2026.

XIII.

Исторія кружка, въ которомъ родился и воспитался Кузьма Прутковъ, къ сожалѣнію, почти совсѣмъ неизвѣстна и, вѣроятно, никогда не станетъ извѣстна, если А. М. Жемчужниковъ—и нынѣ, во славу нашей словесности, здравствующій — ея не разскажетъ при случаѣ. Подождемъ этого случая, а пока мы можемъ установить только одинъ фактъ.

Въ началѣ 50-хъ годовъ А. Толстой и два его двоюродныхъ брата, А. и В. Жемчужниковы, люди уже не первой молодости, прославились шуточными стихотвореніями, съ которыми мы теперь достаточно знакомы; славились они, кромѣ того, невѣроятно забавными выходками, которыя они продѣлывали и въ своей компаніи и въ обществѣ. Они составляли тогда интимный веселый кружокъ, нѣсколько напоминавшій молодую компанію 20-хъ годовъ, въ которой куролесили Пушкинъ и Нащокинъ, или 30-хъ годовъ, когда въ этой роли весельчаковъ и проказниковъ выступали Лермонтовъ и Столыпинъ. Въ чемъ заключались продѣлки друзей Кузьмы Пруткова, въ точности неизвѣстно, но продѣлокъ, которыя имъ приписывались, столь много и такъ онѣ экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всѣхъ этихъ шалостяхъ и неповинны (а это возможно), то одинъ тотъ фактъ, что такія продѣлки имъ приписывались, уже показываетъ, какого о нихъ были мнѣнія.

Нисколько не разбираясь въ томъ, гдѣ истина, гдѣ вымыселъ, что́ было на самомъ дѣлѣ, а что́ измышлено, приведемъ кое-какіе разсказы, которые были намъ разсказаны, какъ достовѣрныя событія изъ жизни веселыхъ пріятелей.

Разсказывали, напримѣръ, что они, катаясь за городомъ, брали съ собою въ сани большой шестъ и, вплотную подъѣзжая къ тротуару, держали его горизонтально такъ, что вся шедшая по тротуару публика должна была при ихъ проѣздѣ прыгать. Разсказываютъ, какъ одинъ изъ нихъ ночью, въ мундирѣ флигель-адъютанта, объѣздилъ всѣхъ главныхъ архитекторовъ города С.-Петербурга съ приказаніемъ явиться утромъ во дворецъ въ виду того, что Исаакіевскій соборъ провалился, и какъ былъ разсерженъ императоръ Николай Павловичъ, когда услыхалъ столь дерзкое предположеніе.

Говорятъ, что одинъ изъ нихъ въ театрѣ умышленно ступилъ на ногу одному высокопоставленному лицу, къ торому потомъ ходилъ въ каждый пріемный день извиться, пока тотъ его не выгналъ.

Утверждаютъ, что они въ день коронаціи Александра иколаевича распрягли лошадей у кареты испанскаго посланка (посланника тогда единственной дружественной намъ ржавы), провезли ее нѣкоторое пространство и затѣмъ бро-ли на произволъ судьбы.

Утверждаютъ, что одинъ изъ нихъ на пари остановилъ ного знаменитаго нѣмецкаго трагика, когда тотъ игралъ амлета»; а именно, когда трагикъ началъ читать моно-гъ: «Sein oder nicht sein?»—Кузьма Прутковъ закричалъ у изъ перваго ряда креселъ: «Warten Sie!»—и сталъ рыться огромномъ словарѣ, желая знать, что́ значитъ слово ein».

Разсказываютъ, что въ одномъ публичномъ мѣстѣ, при-тствуя при разговорѣ двухъ лицъ, которыя спорили о вредѣ ренія табаку, на замѣчаніе одного изъ нихъ: «Вотъ я рю съ дѣтства и мнѣ теперь шестьдесятъ лѣтъ», Кузьма утковъ, не будучи съ нимъ знакомъ, глубокомысленно ему мѣтилъ: «А если бы вы не курили, то вамъ теперь было восемьдесятъ»—чѣмъ повергъ почтеннаго господина въ льшое недоумѣніе.

Много ходитъ подобнаго рода разсказовъ о продѣлкахъ зьмы Пруткова, продѣлкахъ невиннаго, но все-таки вы-вающаго свойства. Совершалъ ли онъ ихъ на самомъ лѣ, это намъ неизвѣстно, но на всѣхъ этихъ шалостяхъ ле-итъ та же печать невиннаго шутовства, которое составляетъ личительный признакъ и всѣхъ стихотвореній Кузьмы етровича. Можно ли, однако, сказать, что стихотворенія руткова были только лишь шалостью?

XIV.

Стихи Пруткова писались сообща тремя друзьями иногда ѣми вмѣстѣ, иногда порознь, подъ однимъ псевдонимомъ. же въ 1874 г. А. Жемчужниковъ говорилъ, что долю уча-ія каждаго изъ нихъ въ твореніяхъ Пруткова опредѣлить удно [25]).

[25]) Письмо въ редакцію «Спб. Вѣдомостей», 1874 г., № 37.

Со временемъ доля А. Толстого будетъ выдѣлена, но въ данномъ случаѣ это несущественно. Велика ли эта доля, или мала—все равно А. Толстой былъ участникомъ въ созданіи особаго жанра стихотворной шутки.

Этотъ жанръ имѣетъ безспорную историческую цѣнность. Прежде всего—цѣнность необычайно оригинальную.

Кузьма Прутковъ—unicum; у него нѣтъ ни предшественниковъ ни послѣдователей.

Въ дореформенное время было у насъ въ обращеніи немало стиховъ весьма игриваго свойства. Ходили по рукамъ необычайно умныя, убійственныя по своему удару эпиграммы и пародіи, иногда съ глубокимъ общественнымъ смысломъ. Пушкинъ былъ на нихъ большой мастеръ и имѣлъ достойнаго соперника въ князѣ Вяземскомъ. Обращались поэты съ этимъ оружіемъ осторожно, съ расчетомъ, вполнѣ зная ему цѣну. Ихъ «вольные» стихи всегда мѣтили въ серьезную цѣль, перелетая черезъ цензурную преграду. Серьезность такихъ стихотвореній нисколько не умалялась тою циничною приправой, на которую авторы иногда не скупились. Существовалъ въ дореформенное время и чисто циничный родъ легкихъ стихотвореній. Имъ не брезгали ни Пушкинъ ни Лермонтовъ. Наконецъ, встрѣчалась и сатира нравовъ, тоже въ очень легкой формѣ, и большимъ мастеромъ такой сатиры былъ извѣстный Мятлевъ.

Со всѣми этими видами острой и игривой шутки стихи Кузьмы Пруткова не имѣютъ ничего общаго.

О политической тенденціи у Пруткова нѣтъ и помину, и игривость его и вольность совсѣмъ не подходятъ подъ понятіе цинизма. У Пруткова нѣтъ ничего боевого, ничего строго продуманнаго,—какъ нѣтъ ничего грубаго и сальнаго. Его шутка совсѣмъ безъ всякой тенденціи, шутка, построенная на алогичномъ, иногда безсмысленномъ сплетеніи мыслей и чувствъ человѣческихъ.

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ она возникла и въ началѣ шестидесятыхъ замолкла, уступивъ свое мѣсто обличительной сатирѣ въ стихахъ, на которую она также совсѣмъ не похожа.

Творенія Пруткова остались въ литературѣ, какъ единичный памятникъ, связанный съ извѣстнымъ историческимъ моментомъ, и очевидно, что эта связь была не случайная, хотя сами творцы этихъ стихотвореній о ней, можетъ-быть,